

СЕРГЕЙ СОРОКИН



ТОМ 10

**КОМАНДИР
БОМБАРДИРОВЩИКА**



Командир бомбардировщика

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 10

«Автор»

2026

Сорокин С.

Командир бомбардировщика - 10 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Командир бомбардировщика)

Пятьдесят пять лет, тридцать лет в небе и последний боевой вылет. Подбитый ракетой, командир стратегического бомбардировщика Павел Иванов спасает экипаж и направляет горящую машину в цель. Но вместо смерти приходит новое падение — уже в чужом молодом теле, за штурвалом израненного самолёта над Балтикой августа 1941 года. У Павла есть опыт лётчика XXI века, но нет ни привычных приборов, ни надёжной техники, ни права объяснить, откуда он знает будущее этой войны. Вокруг — отступление, разбитые машины, люди на пределе сил и экипаж, который ещё только должен поверить своему командиру. А впереди — приказ, звучащий почти безумием: поднять тяжёлый бомбардировщик и идти на Берлин. Чтобы выжить, Павлу придётся заново освоить старое небо, вернуть в строй обречённую машину и научиться принимать решения, где цена ошибки — четыре жизни. Здесь не будет лёгких чудес. Только мастерство, ответственность и железная воля человека, который уже однажды выбрал не себя.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14
Глава 3	23
Глава 4	32
Глава 5	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Сергей Сорокин

Командир бомбардировщика - 10

Глава 1



Восемьдесят метров задним ходом по гребню мы отрабатываем за двенадцать минут.

Я иду сзади и слева, в пыли, и показываю ему руками: правее, левее, стой. У него действительно выскакивает передача, и дважды он останавливается и ругается сквозь зубы. Под левым задним колесом в одном месте осыпается край, и я успеваю поднять руку раньше, чем он туда доедет.

Когда мы выкатываемся к расширению, он вылезает из кабины, обходит машину и смотрит на след своего колеса, до которого от обрыва осталось с полметра.

— Ох ты, — говорит он.

— Вот именно.

Тягач протаскивает планер мимо. Проходит впритирку, и двое идут по бокам, следя за габаритом.

Водитель смотрит на это зрелище — фюзеляж без крыльев, хвостом вперёд, на тележке, — с тем недоверчивым выражением, с которым люди на дорогах в этом году смотрят на всё.

— И куда его?

— К ремонтникам. У них стапель.

— Починят?

— Может, починят. Может, разберут.

— И то дело, — говорит он серьёзно. — Всё лучше, чем жечь.

На ремонтной базе нас принимают деловито и без всякого удивления: за эту неделю к ним, наверное, натащили всего.

Старший — воентехник с обгоревшей до красноты шеей — обходит планер и начинает щупать раньше, чем поздоровается.

— Центроплан? — спрашивает.

— Центроплан, — говорит Руденко. — Вот здесь и здесь. Я вам сейчас покажу, что мы смотрели.

Они уходят под фюзеляж и там разговаривают минут пятнадцать.

Я в это время делаю своё дело: отдаю опись.

Опись у нас на два листа, составлена Верещагином этим вечером, и в ней — то, что мы передаём здесь по-настоящему, а не то, что мы не смогли увезти.

Двенадцать покрышек. Две бочки смазки. Комплект баллонов. Наши запасные тиски, найденные после станции. Ящик с запасным крепежом сверх дорожного комплекта. Шесть аккумуляторов, из которых три хороших.

Кладовщик стоит рядом с таким лицом, будто у него отнимают детей.

— Считайте, — говорю я воентехнику.

— Да чего считать...

— Считайте, — повторяю я. — И распишитесь. И один экземпляр мне.

Он вздыхает и начинает считать, и это занимает у нас сорок минут, и за эти сорок минут кладовщик успокаивается — потому что видит, что вещи не растворяются, а переходят, и что об этом есть бумага с фамилией.

На прощание воентехник спрашивает:

— А вам чего надо?

— Нам бы крышу над людьми. Брезент или доски есть? Уходим на голое поле.

— Ну, может, есть чего. — Он оглядывается. — Полотна брезентового возьмёте? У нас трофейного лежит рулон, нам без надобности.

— Возьмём, — говорю я, не раздумывая.

Потому что на новом поле, где нет ничего, рулон брезента — это крыша над мастерской, или два тента, или сухое место для четверых человек.

Ещё одно письмо от Марии я нахожу в кармане, когда мы возвращаемся с ремонтной базы. Первому из той почтовой пачки я ответил перед ночным ударом; этот конверт отложил и так и не открыл.

Оно пришло ещё позавчера, с той же почтой, что и письмо Анны Петровны, и позавчера мне его отдали в такой момент, что я сунул его в карман и забыл.

Сейчас начало четвёртого утра, замыкающая группа выходит перед шестью, у меня в руках тридцать свободных минут, и я сажусь на подножку своей полуторки и открываю конверт.

«Паша, здравствуй.

Пишу тебе из коридора, потому что в палате сейчас темно, а в коридоре горит лампа, и тут же сидят двое ходячих и режут бинты.

У нас всё меняется. Нам приказано готовиться к передислокации на восток. Куда — пока не говорят, но говорят, что скоро.

Ты, наверное, представляешь себе это как сборы: собрали вещи и поехали. А я тебе расскажу, как это на самом деле, потому что мне надо кому-то рассказать.

У нас сто девяносто человек. Из них ходячих — шестьдесят с небольшим. Эти уедут сами, их посадят, они потерпят.

Остальные — носилочные. Из них двадцать восемь таких, которых вообще нельзя трогать сейчас. У нас два с переломами позвоночника. У нас четверо после полостных, которым нельзя трясти. У нас мальчик, ему девятнадцать, у него обе ноги на вытяжении, и его нельзя ни снять, ни везти так.

Их нельзя просто посадить в грузовик, Паша. Я это пишу и понимаю, как глупо звучит. Но ты бы знал, сколько людей приходят и говорят: «ну погрузите как-нибудь».

Нина Фёдоровна сейчас делает то, чего я бы не смогла: она ходит и выбивает. Вагоны, санитарную летучку, хоть что-нибудь. Она вчера кричала на интенданта так, что было слышно в третьей палате, а потом пришла к нам, села и десять минут молчала, а потом сказала: «Ну, девочки, две теплушки будут».

Я, кажется, начинаю понимать, за что её можно любить.

Помнишь, я тебе зимой писала про того, который молчал? Ты мне тогда ответил и спросил, говорила ли я про это с Ниной Фёдоровной.

Я тогда не ответила тебе на этот вопрос. Ответила про всё остальное, а про это нет.

Так вот: я с ней поговорила. В марте. Не сразу, но поговорила.

Она меня выслушала и сказала одну фразу, которую я теперь всё время вспоминаю. Она сказала: «Запомни его и работай дальше. Забудешь — станешь плохой сестрой. Будешь только помнить — совсем работать не сможешь».

Я тогда обиделась. А сейчас понимаю, что это единственное, что можно было мне сказать.

Паша, я не знаю, где мы будем через две недели. Я не знаю, будет ли у нас адрес и скоро ли. Мне от этого тревожно, и я пишу тебе быстро, чтобы успеть отправить с этой почтой.

Мария».

Я читаю это дважды.

Потом сижу и смотрю на выжженную степь перед собой, на пыль, поднятую колонной, на людей, которые грузят последние ящики.

Штука в том, что я привык к неподвижной точке.

Все эти месяцы, с осени, у меня в голове существовало место. Не город даже — здание с длинными коридорами, лампа, коридор с бинтами, Нина Фёдоровна. Я туда мысленно возвращался, когда было совсем тяжело: где-то там есть человек, который вечером сядет и напишет мне письмо.

А теперь эта точка тоже поехала.

И, что самое неприятное, поехала она не в мою сторону, а в свою, и никто нам не обещал, что эти две дороги где-нибудь сойдутся.

Я сижу, и в голове у меня начинает крутиться то, что крутится у всякого человека в такой ситуации: где мы можем пересечься. Через какие станции пойдут они и через какие пойдём мы. Можно ли попросить кого-то передать.

И тут я себя останавливаю.

Потому что я это уже видел. Не на войне — в другой, длинной и в общем благополучной жизни, где люди тоже теряли друг друга: в тот момент, когда двое начинают ловить случайную встречу вместо того, чтобы построить надёжный способ, они друг друга и теряют.

Мне нужен не перекрёсток.

Мне нужен адрес.

Замыкающая группа выходит в пять ноль пять. По ведомости в общем эшелоне БАО и наших техников сорок одна единица; сейчас мы догоняем его хвост.

Сорок одна единица: грузовики, две цистерны, кухня, полторки, тягач без планера, две трофейных легковушки, в которых едут раненые и те, кто не может идти. Плюс двадцать два человека на подводах, которые нам дали местные.

Начинали движение ночью, потому что днём по этим дорогам ходить нельзя: за неделю немцы прочно взяли манеру гонять по колоннам парами.

Я еду в голове, в кабине полторки, и первые полтора часа только и делаю, что проверяю дистанцию.

Дистанция — единственное, что спасает колонну. Двести метров между машинами, никакого света, никаких скоплений на остановках.

Люди это знают. Люди устали. Люди всё равно сбиваются в кучу, потому что в темноте страшно ехать одному, и человеку хочется видеть перед собой чужой борт.

Три раза по дороге я вылезаю и иду вдоль колонны пешком, растаскивая.

В половине седьмого утра мы останавливаемся у балки, где есть вода, и здесь кухня раздаёт горячее.

Походную кухню БАО с мая водит старшина Гнатюк — южанин, громкий, с мокрым от пота лицом, кормит он хорошо, а ругается ещё лучше.

Я подхожу к нему, когда он уже развёл котёл, и застаю сцену.

У кухни толпа. Человек сорок, и все стоят, и слышно, как кто-то сзади говорит, что он тут первый был.

— Тихо! — орёт Гнатюк. — Тихо, я сказал! Не так будет!

— А как?

И Гнатюк достаёт из-за пазухи бумажку.

Я эту бумажку узнаю с трёх шагов, потому что сам ему отдал её десять дней назад.

Это листок из письма Анны Петровны — той самой, которая на севере, за тысячу километров отсюда, кормит там наших и которая мне пишет раз в месяц, а Феде чаще. В том письме она, среди прочего, описала свой порядок кормления сменами: кого кормить первым, кого вторым и почему.

Я тогда передал Гнатюку выписку с порядком смен; само письмо оставил в планшете.

Гнатюк закрепляет лист на стойке и отставляет протянутый поперёк очереди котелок.

— Сначала мотористы! Кто ночь у шестого борта стоял, подходи. Остальным хватит.

— А мы что, не работали?

— Работали! — соглашается Гнатюк. — Следом шофёры. Им снова за руль; уснёт один — все окажемся в балке.

— А мы?

— А вы третьи! — говорит Гнатюк. — И ничего с вами не станется, потому что вы сейчас в кузове поедете и будете спать, а он — нет!

Народ ворчит, но ворчит недолго, потому что порядок понятный, а понятный порядок люди принимают почти всегда.

Я стою в стороне и смотрю на это с очень странным чувством.

За тысячу километров, на северной базе, женщина пятидесяти пяти лет, у которой болит спина и которая никогда не видела этой степи, написала в письме, в какой очередности кормить людей. И вот здесь, на рассвете, посреди отступления, её порядок работает, и сорок человек ему подчиняются.

Я беру у Гнатюка второй котелок и иду разносить.

Не из демократии — просто раздатчиков двое, а очередь длинная, и я сейчас всё равно бесполезен: колонна стоит, дистанции нет нужды править.

Несу двоим мотористам, которые сидят прямо на земле, привалившись к колесу, и которые за последние сутки спали в сумме часа три. Один берёт котелок и говорит «спасибо», не глядя. Второй сначала не берёт: он спит сидя, с открытыми глазами.

— Эй.

Он моргает.

— Ешь.

— Я сейчас.

— Ешь сейчас, — говорю я. — Через двадцать минут поедем, и ты уснёшь, а котелок опрокинешь.

Потом несущим водителям.

Потом ещё раз.

А когда возвращаюсь к кухне, Гнатюк сует мне котелок и говорит:

— Вот. Ваша.

— Я потом.

— Нет «потом», — говорит он сердито. — Я вашу порцию с первой смены держу под крышкой. Она уже остыла один раз и подогретая. Ще раз греть не буду.

Я беру.

И вот тут случается то, что я потом буду вспоминать чаще, чем всю операцию по переправе.

Я сажусь на край грузовой платформы, ставлю котелок рядом, и вдруг понимаю, что могу снять сапог.

Просто снять сапог. На десять минут. Никто не приедет, ничего не взорвётся, колонна стоит, дистанции выставлены, люди едят, а до выхода двадцать минут.

Я снимаю правый.

Портянка мокрая насквозь. Нога отекала за сутки так, что кожа блестит, а старый след на колене, который со мной с сорок первого, ноет ровно и тупо.

Я разматываю портянку, переворачиваю сухой стороной и просто сижу, шевеля пальцами.

Степь пахнет полынью и горячим железом. Где-то за спиной кто-то смеётся — короткий, усталый смех. На востоке уже поднялось солнце.

Я ем свою подогретую кашу, и она кажется мне вкуснее всего, что я ел за последний месяц.

Двадцать минут.

За эти двадцать минут в колонне происходит то, чего не сделала бы никакая моя речь о стойкости. Люди, которые полночи молча злились друг на друга за пыль, за сбитую дистанцию, за «кто первый», сидят и едят горячее. Кто-то делится махоркой. Кто-то заматывает товарищу руку. Двое шофёров, которые вчера чуть не подрались из-за места в очереди на заправку, сидят рядом и ругают дорогу.

Голодный уставший человек ненавидит всех.

Накормленный уставший человек — просто уставший.

Ответ Марии я пишу здесь же, на этой платформе, при утреннем свете, пристроив блокнот на колене.

Блокнот тот самый, который она мне отдала весной, когда наш эшелон стоял час у её станции и мы с ней первый раз разговаривали живыми голосами, а не буквами.

Пишу я недолго, минут двенадцать, и пишу с одним решением, которое принял ещё вечером.

«Мария, здравствуй.

Мы сейчас на дороге, и я пишу на грузовике, поэтому буквы кривые.

Сначала главное, потому что у меня мало времени и потому что это важнее всего остального.

Наш адрес не меняется.

Полевая почта части остаётся прежней, куда бы нас ни перевели. Это её свойство: она привязана не к месту, а к части. Мы можем сменить поле хоть пять раз, а номер останется тот же, и письмо меня найдёт. Может, не за неделю, а за три. Но найдёт.

Поэтому запомни и, пожалуйста, запиши где-нибудь, кроме памяти: пиши на старый номер. Не ищи меня по слухам, не отправляй никуда наугад.

Второе.

Когда вы приедете и вам дадут ваш номер полевой почты — сообщи мне его сразу. Первым же письмом, даже если это будет три строчки. Не жди, пока устроитесь, пока будет что рассказать, пока найдётся конверт получше. Три строчки: «мы здесь, номер такой-то, жива».

Я сейчас объясню, почему я так на этом настаиваю.

У меня был соблазн написать тебе по-другому. Написать: если вы поедете через такую-то станцию, я постараюсь быть там, оставлю записку у коменданта, спроси у военного коменданта Иванова.

Это было бы красиво, и я почти это написал.

А потом сообразил, что мы с тобой в этом случае будем не связываться, а ловить друг друга. Ты будешь ехать и смотреть в окно на станции, а я буду думать, проехала ты уже или нет. И если не сойдётся — а оно почти наверняка не сойдётся, — то у нас с тобой не останется ничего, кроме двух разочарований.

Поэтому никаких станций. Только номера.

Третье, и это уже не по делу.

Я прочитал, что тебе сказала Нина Фёдоровна. Про то, что нельзя только помнить.

Я эту фразу, наверное, украду у неё, если ты не против. Мне есть кому её сказать. У меня в эскадрилье сейчас несколько мальчишек, которые за полгода привыкли к тому, что мы всё время уходим на восток, и я вижу, как у них внутри что-то начинает гаснуть. Я пока не знаю, как с этим быть, и твоя Нина Фёдоровна сказала это лучше, чем я умею.

И ещё.

Ты написала, что тебе тревожно. Я не буду тебе говорить, что всё будет хорошо, потому что ты этого не любишь и я тоже.

Скажу другое. Ты сейчас занимаешься тем, что тебя от тревоги спасёт лучше всего: ты считаешь своих двадцать восемь и думаешь, как их везти. Я знаю это состояние. Пока считаешь — держись.

Досчитаешь — напиши мне три строчки.

Павел».

Я перечитываю, складываю, надписываю.

Потом нахожу Гриценко — сержанта, который у нас отвечает за почту и который едет в третьей машине с мешком, — и отдаю ему конверт лично в руки.

Гриценко показывает второй треугольник — мой ответ, оставленный дежурному перед боевой ночью. Дежурный передал его после нашего возвращения; обе разные вести пойдут теперь одной отправкой.

— Уйдёт?

— Уйдёт, — говорит он. — Не сегодня. На новом месте сдам на узел, оттуда пойдёт.

— Долго?

— Дней десять, — говорит он честно. — Может, двенадцать. Сейчас всё долго.

Я киваю.

И не делаю того, что мне очень хочется сделать: не переписываю письмо во второй раз, чтобы отправить дублем через другую оказию.

Потому что это как раз и есть то самое суетливое: два письма не дойдут вдвое быстрее, а вот перепутать адрес я могу.

Зато я достаю блокнот и на последней странице, отдельно, записываю себе две строчки.

Не для неё — для следующего письма, чтобы не забыть, когда схлынет.

«Спросить: что стало с мальчиком, у которого обе ноги на вытяжении. Довезли?

И: она сказала «я, кажется, начинаю понимать, за что её можно любить». Спросить, поняла ли».

Убираю блокнот в карман и застёгиваю пуговицу.

Колонна выходит в шесть пятьдесят.

Оставшиеся до нового поля сто шестьдесят километров мы идём одиннадцать часов, и это, если не считать пыли, самая скучная часть моих суток.

За эти одиннадцать часов случается одна поломка (полетела полуось у второй машины, бросили её, перегрузились), один налёт, который налётом не стал (пара прошла в стороне, на

нас не обратила внимания — мы стояли рассредоточенно и не шевелились), и три остановки для воды.

На новое поле мы приходим без десяти шесть вечера.

Поле голое.

Я это знал заранее, мне сказали, но между «знал» и «увидел» есть, как обычно, разница.

Ровная выгоревшая степь. Полоса, укатанная кем-то до нас. Три землянки, из которых одна с обвалившимся входом. Колодец в восьмистах метрах, у хутора. Ни навесов, ни капониров, ни укрытий, ни столовой, ни мастерской, ни одного дерева в пределах видимости.

Наши исправные машины, перелетевшие сюда минувшей ночью, стоят рассредоточенно по краю, прикрытые чем придётся.

Из колонны начинают вылезать люди.

Они вылезают и стоят, оглядываясь, и на лицах у них написано ровно то, что я и ожидал: вот за этим мы ехали ночь.

Дальше моя работа на ближайший час очень простая, и она не имеет никакого отношения к авиации.

— Гнатюк! — кричу я. — Кухня — вон туда, к балке, где тень от склона. Воду с колодца, две подводы, старший — Кириленко. Начинай с горячего, не с ужина.

— А дрова?

— Дрова тебе даст Верещагин из ящиков, которые мы всё равно разбираем. Верещагин!

— Слышу.

— Мастерскую разворачивай не здесь, а вон за тем бугром: там от дороги не видно. Первым делом натяни брезент, который нам дали ремонтники. Не верстаки, а брезент.

— Есть.

— С Сивковым сам поговоришь? — спрашивает Литвинов.

— Сам. Сейчас дойду до шестого.

А потом я делаю то, из-за чего у меня через полчаса будет неприятный разговор.

В единственной целой землянке — сухой, с накатом, с нарами — по всякому разумению должен разместиться командный состав. Так везде и делается, и никто бы даже не обсуждал.

Я туда отправляю мотористов.

Шестерых человек, тех самых, которые ночь ставили мотор на шестой борт и потом ехали в кузове, и ещё двоих, которые всю ночь работали на буксировке планера под открытым небом.

— Туда, — говорю. — Вниз, на нары. Спать.

— Товарищ командир, — говорит старшина, — так это ж...

— Это землянка, — говорю я. — В ней сухо и нет мух. Вопросы?

— А вы?

— А я на воздухе. Мне сейчас не спать, мне встречать.

Через полчаса приходит Литвинов и говорит мне вполголоса:

— Про землянку уже разговаривают.

— Кто?

— Да все. Одни хвалят, другие говорят, что ты дешёвый авторитет зарабатываешь.

— А ты как думаешь?

Литвинов садится на соседний ящик и вытряхивает песок из сапога.

— Сегодня правильно сделал, — говорит он. — Но, Паша, ты имей в виду: если ты будешь так каждый раз, то через месяц у тебя командиры экипажей будут спать в степи, а мотористы в землянках, и это станет не заботой, а глупостью.

— Согласен, — говорю я. — Это на одну ночь. Завтра построим нормально и будем селить по работе, а не по доблести.

— Вот это скажи вслух, — говорит он. — Прямо сегодня, при всех. Иначе они сами придумают, что ты имел в виду.

Я говорю это вслух через двадцать минут, у кухни, и мне действительно становится легче.

Сивков сел здесь около шести пятнадцати утра. Литвинов встретил его: один круг, длинная аккуратная посадка без лихости. Мне донесение передали на первой остановке. Теперь я наконец могу подойти к самой машине.

Я иду к машине, и пока иду, успеваю осмотреть её издали, как смотрят на своё после долгого дня: шестой борт, облегчённый, без бомб, с чужим мотором, поставленным ночью при свете автомобильной фары.

Сивков поднимается с ящика и идёт мне навстречу, и лицо у него мокрое.

— Товарищ командир, — говорит он. — Шестой борт перелёт выполнил. Замечаний по мотору... — Он запинаясь. — Есть замечания.

— Докладывай.

— На тридцать второй минуте показалось, что он стучит, — говорит Сивков. — Я минуты три слушал и думал, разворачиваться или нет.

— Разворачиваться было уже некуда.

— Вот именно, — говорит он. — Я эту точку прошёл на двадцатой, как вы сказали, и время записал.

— И что дальше?

— Дальше я проверил по приборам. Приборы нормальные. Потом я снизил режим и послушал. Потом опять поставил. — Он вытирает лицо рукавом. — И понял, что это не он стучит, а у меня в ушах.

— Это бывает.

— Знаю, — говорит он. — Теперь знаю.

Верецагин уже под мотором.

Он лезет туда прямо сейчас, в семь вечера, хотя этот человек на ногах ровно столько же, сколько и все мы, — чтобы лично проверить запись принимающего техника и осмотреть установленный мотор после перегонки.

— Долго? — спрашиваю.

— Сколько нужно, — отвечает он оттуда. — Товарищ командир, идите ужинать. Я вам вечером скажу, а завтра с утра мы его посмотрим весь.

— В боевой состав его я сегодня не пишу.

— Правильно, что не пишете.

Я отхожу от машины и оказываюсь, наконец, один.

Солнце садится в степную пыль, и от этого оно делается огромным и мутно-красным, и от машин ложатся длинные тени. У балки дымит кухня, и там уже сидят человек тридцать. За бугром стучат — Верецагин разворачивает мастерскую, и первое, что там появилось, это натянутый брезент.

В целой землянке спят восемь человек, которых я туда положил.

Мы потеряли базу, которую обустроивали всё это лето. Мы оставили там навесы, тиски, покрышки и один самолёт, который сейчас стоит на чужом стапеле и, может быть, ещё полетает под чужим номером. Мы прошли за ночь и день сто девяносто километров по забитым дорогам, и завтра утром мне предстоит считать, сколько из вышедшего сюда дошло и что из этого может воевать.

Считать я буду завтра.

А сегодня у меня вот что: колонна вышла с прежней базы до подхода противника. Шестой борт стоит на поле, и Верецагин сидит под его мотором. Люди едят горячее. Мотористы спят в сухом. Письмо с моим неизменным номером полевой почты лежит в мешке у Гриценко и уйдёт завтра на узел.

Я сажусь на снарядный ящик у края поля, лицом к западу, откуда мы пришли.

За спиной у меня начинается новое место, в котором пока нет ничего, кроме людей, брезента и самолётов, часть которых пока не готова к бою.

Значит, будем строить.

Глава 2



Ведомость сводят третьи сутки, и третьи сутки в ней меняются цифры, потому что люди и машины продолжают приходить.

Я сижу на ящике у кухни — в землянке ещё нет крыши, только накат и слой земли, который сегодня с утра просел от дождя, — и передо мной лежат три листа. На первом люди. На втором техника. На третьем то, что передано на месте: пригодные узлы и запас, которые передали ремонтникам, бочки, слитые местным ремонтникам, остатки постельного и имущество, принятое соседней ремонтной базой по описи.

Люди сошлись.

Это первое, что я проверил, когда приехала наземная колонна: сошлись все, включая тех, кого мы уже считали потерянными на переправе, потому что двое суток о них ничего не было. Их привёз на своей полуторке комендант дороги, и они вылезли из кузова черные, злые и живые.

Ни одного не потеряли.

За этот переход с последней базы, под угрозой налётов на марше — ни одного.

Я знаю цену этой строчки лучше, чем кто бы то ни было на этом поле, потому что в прошлой жизни видел ведомости, где эта строка выглядела иначе. И я знаю вторую вещь, которую ведомость сообщает всякому, кто умеет читать: цена уплачена не мной. Она уплачена Плешаковым, который трое суток жил в кузове и не давал разбирать то, что ещё можно было тащить, Гнатьюком с походной кухней и северным порядком смен, дошедшим от Анны Петровны письмом, и восемнадцатилетними шоферами БАО.

— Виктор, — говорю я Зорину, который стоит рядом и ждёт, когда я закончу считать, — по людям всё.

— Сходится?

— Сходится. Теперь скажи мне правду по машинам.

Зорин смотрит на второй лист через моё плечо.

— По бумаге у нас три четверти, — говорит он.

— По бумаге. А по делу?

Он молчит, потому что не хочет говорить это вслух у кухни, где ходят люди. Я складываю три листа в планшет, застёгиваю клапан, и мы отходим к дальнему капониру — вернее, к тому, что сапёры называют капониром, а на деле это обваловка в полметра, которую роют вторые сутки.

Плешаков уже там, складывает инструмент после осмотра магнето. Ждал этого разговора с утра.

— Докладывайте, — говорю я.

— Готовых к боевому вылету сегодня — четыре, — говорит Плешаков. — Завтра будет пять, если привезут свечи. До семи доведём, если не задержат обещанные узлы.

— А по списку у нас?

— До выхода числилось двенадцать, с приданным звеном. На поле выведено девять. Зоринский планер передан соседям; ещё два неисправных остались у ремонтников на прежнем месте. Их в наши прибывшие не пишем.

— Вот и вся арифметика, — говорю я. — Три четверти выведенной техники — это не три четверти боевых вылетов. Это четыре машины сегодня и семь через неделю.

— Двенадцатый вообще не полетит, — добавляет Плешаков мрачно. — Он у меня на перегонном режиме дошёл и больше ничего мне не должен. Из него будет донор.

— Пиши в третий лист.

— У меня в тетради записано. Сейчас перепишу к тебе и дам сверить инженеру.

Мы стоим втроём над разрытой землёй, в которой ещё не пахнет ни бензином, ни маслом, — только сырой глиной. Поле голое до горизонта: полынь, серая от дождя, две уцелевшие лесопосадки вдоль дороги, и всё.

Позади, в километре, строится столовая — четыре столба и брезент.

С первым сводом разобрались ещё в конце августа. До начала сентября подлатали жильё, но готовых к дальнему вылету машин по-прежнему мало.

— Виктор, — говорю я. — Что у тебя с людьми?

Зорин не отвечает сразу, и это уже ответ.

— Плохо, — говорит он наконец. — Не по дисциплине. По голове.

— Говори.

— Вчера Дёмин при всех спросил: мы куда летим дальше — на восток или всё-таки когда-нибудь на запад. — Зорин смотрит в сторону. — Я ему ответил, что мы летим туда, куда приказано. Он сказал: «Есть». И после этого молчал весь вечер.

— Кто ещё?

— Соболев не спрашивает, но у него в экипаже говорят. Гриценко ходит, как в воду опущенный. Пшеничный вчера у меня сидел час и объяснял, почему ночная дальняя работа сейчас не нужна.

— И как объяснял?

— Умно, — говорит Зорин. — Вот в том и дело, что умно.

Их я нахожу через час, и не потому что искал.

На краю поля, там, где рулёжка выходит на грунтовку, стоит перегнанный вчера Ил-4 — тот самый, который Панкратов притащил на одном работающем, а второй заставил работать, и после которого Плешаков сказал: донор. Возле него сидят четверо.

Сидят на пустых ящиках, спиной к самолёту, лицом к западу, и курят.

Запад отсюда — это ровная линия горизонта, над которой стоит муть. В этой мути днём — своя авиация, чужая авиация, дым и отходящие. Вечером оттуда доносится то, чего на слух не спутаешь ни с чем: дальний, ровный, никогда не прекращающийся гул.

— Товарищ командир, — говорит Дёмин и встаёт первым.

Остальные встают следом: Соболев — медленно, как всегда; Гриценко — суетливо, роняя пилотку; Пшеничный не роняет ничего и смотрит прямо.

— Сидите, — говорю я и сажусь на пятый ящик.

Они садятся с подобранными плечами, пряча самокрутки в ладони; Дёмин больше не вытягивает ноги поперёк прохода.

Дёмину двадцать два. Он из-под Полтавы, у него мать и две сестры остались там, где сейчас чужие, и он об этом не говорит никогда, но все знают. Он лучший из наших молодых по технике пилотирования и худший по терпению.

— Ну, — говорю я. — Спрашивайте.

— Что спрашивать, товарищ командир?

— То, что вы спрашивали друг у друга последние трое суток.

Молчание. Потом Дёмин всё-таки говорит — глядя не на меня, а на запад:

— Зачем нам ночь.

— Поясни.

— Мы шестые сутки на новом поле. Вчера ставили землянки, сегодня роем капониры, завтра будем чистить рулётку. — Он говорит ровно, без истерики, и от этого хуже. — Через неделю мы подготовим дальний вылет. Полетим ночью, за триста километров, положим бомбы на какое-нибудь поле, вернёмся и напишем донесение.

— А днём?

— А днём, — говорит Дёмин, — отсюда до фронта сто с небольшим, и там сейчас наши держат рубеж без прикрытия, и по ним ходят с утра до вечера. И, товарищ командир, я вам честно: я не понимаю, что важнее — наши двенадцать бомб ночью где-то далеко или одна пара, которая днём отогнала бы от пехоты.

— Я подам рапорт, — говорит он после паузы. — В штурмовой. Я туда просился ещё в апреле.

Гриценко смотрит на него испуганно, Соболев — исподлобья, Пшеничный кивает.

— Кто ещё? — спрашиваю я.

— Я, — говорит Пшеничный. — Только не в штурмовой, а в ночные лёгкие. У меня брат там.

Я смотрю на Гриценко. Он крутит пилотку, поднимает глаза и снова опускает. Ответа сейчас не будет; я не вытягиваю его силой.

— Соболев?

Соболев молчит секунд пять.

— Я не буду рапорт, — говорит он наконец. — Но я не понимаю так же, как они.

Вот сейчас мне надо не ошибиться.

В прошлой жизни у меня на этот случай был набор ходов, и все они плохие. Первый: рассказать про стратегию. Двадцатидвухлетний человек, который шесть суток копал землю и смотрел, как немец идёт на восток, слушать про стратегию не будет. Второй: пристыдить. Сказать про долг, про присягу, про «а кто за вас будет». Это вообще хуже всего, потому что они не трусы; они просятся туда, где страшнее.

Третий: показать.

— Рапорты пишите, — говорю я.

Они переглядываются.

— Сегодня напишите и мне отдайте, — говорю я. — Не завтра, не через неделю. Сегодня. Я их приму, зарегистрирую и положу к себе.

— И дадите ход? — спрашивает Дёмин.

— Дам, — говорю я. — Не сегодня. У меня к вам до этого одна работа, и я хочу, чтобы вы её сделали до того, как я пушу бумаги.

— Занятие? — спрашивает Пшеничный, и в голосе у него — вся вежливая усталость человека, которого третий год учат.

— Нет, — говорю я. — Работа. Занятие — это когда я знаю ответ. Здесь ответа не знаю ни я, ни штаб.

Четыре рапорта ложатся ко мне на стол к шести вечера.

Стол — это дверь от разрушенного дома, положенная на два ящика. Лампа — гильза с фитилём, потому что керосинку разбили на марше.

Я читаю все четыре.

У Дёмина — в две строки, зло: «Прошу перевести в штурмовой полк для непосредственного участия в боевых действиях». У Пшеничного — обстоятельно, с обоснованием, с упоминанием брата. У Гриценко — коряво, с пометками, и видно, что он писал, потому что пишут остальные. Четвёртый, от стрелка Кутепова, — вообще без объяснений: «Прошу перевести туда, где стреляют».

Я расписываюсь на каждом в углу, ставлю дату и кладу в жестяную коробку из-под ленты.

Зорин, сидящий напротив со своим списком экипажей, наблюдает за этим молча.

— Ты ихпустишь? — спрашивает он.

— Если после операции скажут то же самое — пушу.

— Дёмина жалко.

— Мне их всех жалко, — говорю я. — Но если я сейчас начну держать людей силой, я получу не эскадрилью, а роту недовольных, которые ночью над целью будут думать про свои рапорты.

— А если они уйдут и не вернуться?

— Я не могу выбрать им место гибели и выдать это за заботу, — говорю я. — Виктор, я видел, что делает с человеком отнятый выбор. Он перестаёт быть лётчиком и становится служащим.

На следующее утро я веду их к разведчикам.

Разведывательное хозяйство у нас на новом поле устроено даже лучше, чем наше собственное: у них уже есть землянка с настоящей дверью, стол, две лампы, и главное — сушилка для плёнки, сколоченная из ящиков и куска трубы.

Капитан Гушин, командир разведывательного экипажа, — человек лет тридцати с обожжённой левой щекой и привычкой говорить «не знаю» так, будто это готовый результат.

— Мне сказали, вы придёте с молодёжью, — говорит он. — Я вам выделю час.

— Мне нужно четыре часа.

— У меня нет четырёх.

— У вас есть четыре, — говорю я, — если вы хотите, чтобы через неделю ваши снимки кто-то умел читать не только у вас.

Гушин смотрит на меня, потом на четверых за моей спиной.

— Рябинина! — кричит он в глубину землянки. — Доставай сентябрьские, транспортные.

Техник-лейтенант Рябинина — маленькая, с обмороженными в прошлую зиму пальцами, которые она прячет в рукава, — приносит папку, кладёт на стол и сама садится рядом, потому что ей интересно.

Я разворачиваю перед молодыми чистый лист.

— Задача такая, — говорю я. — К вечеру послезавтра вы приносите мне один день. Не свой — их. Один день снабжения немецкой группировки вот здесь. — Я обвожу карандашом

район. — Что у них должно взлететь утром. Что привезти. Что и где выгрузить. И самое главное — какие наземные дела у них не сделаются, если это не прилетит.

— Мы должны угадать? — спрашивает Дёмин.

— Вы должны построить, — говорю я. — Из того, что есть. Где данных нет, вы не выдумываете, а пишете предел: «не менее», «не более», «неизвестно».

— А если в конце получится, что не сделается ничего? — спрашивает Пшеничный, глядя мне в глаза.

— Тогда вы мне это докажете, — говорю я, — и я лично отвезу ваши рапорты в штаб и добавлю от себя, что вы правы.

Пшеничный разжимает пальцы на карандаше и смотрит уже не на меня, а на снимок перед собой. Гушин придвигает ему масштабную линейку.

Первые два часа они работают плохо.

Плохо — потому что ждут, что им скажут, что искать. Гушин раскладывает снимки, Рябинина объясняет масштаб, Дёмин листает быстро и раздражённо, Гриценко переписывает всё подряд в тетрадку, Соболев молчит.

Я сижу в углу и не вмешиваюсь. Это самое трудное, чему я научился здесь: сидеть в углу.

Перелом наступает на третьем часу, и делает его Пшеничный.

— Товарищ капитан, — говорит он Гушину. — А вот эти два снимка одного поля?

— Одного.

— С разницей в сутки?

— С разницей в двое.

Пшеничный кладёт их рядом.

— Тогда я не понимаю, — говорит он. — Вот здесь у них на стоянке стоят восемь машин. Здесь — девять. А вот тут, — он показывает на угол снимка, — у них и там, и там стоят три, и одинаково.

— И что?

— А то, что остальные двигаются, а эти три нет, — говорит Пшеничный. — Двое суток не двигаются.

— Разбитые, — говорит Дёмин.

— Не похоже, — говорит Рябинина, и это первый раз, когда она подаёт голос. — Разбитую они сволакивают с площадки. Эти стоят на месте, около них на обоих снимках техника.

— Значит, они там не стоят, — медленно говорит Соболев. — Они там лежат. Их чинят. Тишина.

— Пиши, — говорю я из угла, и они вздрагивают, потому что забыли, что я тут.

Дальше идёт быстрее.

К вечеру у них на листе появляются первые связанные вещи.

Утренний вылет транспортной группы происходит с рассветом; на снимках с раннего утра машины уже расставлены попарно у полосы, а не в рассредоточении; значит, их вытаскивали и готовили ночью. Вытаскивали — значит, работали люди, тягачи, и работали при свете, хотя бы при переносном.

— То есть у них ночью на площадке идёт работа, — говорит Пшеничный. — Не охрана. Работа.

— И заправка, — добавляет Соболев. — Они же не могут утром за полчаса залить двадцать машин.

— А откуда заправка?

Вот тут они застревают надолго, и это хорошо, потому что застревать надо самому.

Я вижу, как Дёмин трижды берётся за снимок склада и трижды кладёт обратно. На четвёртый раз он кладёт рядом второй снимок — соседнего поля, в двенадцати километрах.

— Товарищ капитан, — говорит он Гушину. — А тут у них тоже емкости?

— Тут — да.

— А тут? — Он показывает на третье поле.

— А тут я вам ничего сказать не могу, — говорит Гуцин ровно. — Там снимали один раз, косо, с большой высоты, и половина закрыта облаком. Я не знаю.

— То есть может быть, а может не быть.

— Именно.

— Тогда пишем: «неизвестно», — говорит Дёмин с явным неудовольствием.

— Пишите, — говорю я. — И это будет самая ценная строчка вашего листа.

— Почему?

— Потому что через неделю кто-нибудь захочет назначить туда удар, а вы ему предъявите «неизвестно» и заставите посмотреть.

Второй день они работают уже сами, без меня; я захожу к ним дважды.

Первый раз — застаю спор.

Спорят Дёмин и Пшеничный, причём так, что Рябилина тихо ушла в дальний угол и делает вид, что перебирает плёнку.

— Горючее! — говорит Дёмин. — Ты пойми: нет бензина — вообще ничего не летит. Ни сегодня, ни завтра.

— Бензин привезут, — говорит Пшеничный. — По железной дороге, автоцистернами, за сутки-двое подтянут с соседнего узла. Он у них не золотой.

— За сутки!

— За сутки, — говорит Пшеничный. — А ремонт ты им за сутки не подтянешь. Мастерская — это люди, станки, подъёмники и запчасти в одном месте. Если у них три машины в ремонте лежат двое суток при живой мастерской, то без мастерской они будут лежать неделю. И следующие пять к ним лягут.

— Это если ты по мастерской попадёшь, — говорит Дёмин. — А по емкостям попасть в десять раз легче, потому что они горят, и попадание видно за двадцать километров.

— Тебе видно или тебе нужно?

Дёмин открывает рот и закрывает.

Вот из-за этой секунды стоило три дня возиться.

— Продолжайте, — говорю я от двери. — К вечеру принесёте оба варианта, с ценой каждого. Не «что лучше», а «что на сколько дней».

Второй раз я захожу поздно, когда у них уже горит вторая лампа и Гуцин ушёл спать.

Они сидят над листом, и лист теперь выглядит иначе: это не выписки, а схема с четырьмя колонками — «ночью», «утром», «днём», «без этого не будет».

— Товарищ командир, — говорит Соболев, — можно вопрос не по теме?

— Можно.

— А вот это, — он показывает на четвёртую колонку, — мы же не проверим никогда. Ну, напишем мы, что без утреннего рейса у них где-то на переднем крае не будет снарядов. А как мы узнаем?

— Никак, — говорю я. — Точно — никак. Косвенно — узнаем.

— Как?

— По тому, что они начнут делать, чтобы это восстановить. По тому, откуда они снимут машины. По тому, что через три дня разведка увидит на других полях. Соболев, война — это не арифметика с ответом в конце задачника. Здесь ответ приходит через неделю, кусками и не полностью.

Он думает.

— Тогда получается, — говорит он, — что мы всегда работаем вслепую.

— Нет, — говорю я. — Мы всегда работаем с неполным. Это разные вещи. Слепой не знает, где стена. А мы знаем, где стена, и не знаем, что за ней.

К среде у меня на столе лежит их лист.

Он некрасивый: писали вчетвером разными почерками, с двумя кляксами, с исправлениями. Но в нём есть то, чего не было ни в одной бумаге, которую мне до этого приносил штаб.

В нём есть зависимость.

Утренняя готовность транспортной группы держится на ночной работе: вытаскивание, заправка, мелкий ремонт. Ремонт сосредоточен, потому что рассредоточить мастерскую нельзя. И горячее одного узла, судя по движению автоцистерн, обслуживает не одну стоянку, а несколько.

Под этим — четыре подписи и одна строчка, которую они добавили сами, без моей просьбы: «Данных по третьему полю недостаточно. Требуется доразведка».

— Ну, — говорю я. — Теперь я вам должен показать, зачем это было.

— Мы поняли зачем, — говорит Пшеничный.

— Вы поняли головой. Этого мало.

Учебный вылет мы ставим на ночь со среды на четверг, когда Белова даёт первое сносное окно за неделю.

Задача самая скучная: выйти на учебный ориентир в сорока минутах, отработать точный выход по времени и вернуться. Единственное, что делает её не совсем скучной, — это требование выйти в назначенную минуту, а не «примерно».

Готовится экипаж Соболя: он сам, штурман Гриценко, штатный радист и стрелок Кутепов. В этом учебном вылете я займу нижнее место вместо Кутепова; он останется на земле.

Зорин проверяет порядок выхода и проверяет злобно, как умеет. Он заставляет Гриценко трижды повторить, откуда тот берёт свою поправку, и на третий раз Гриценко начинает путаться и злиться.

— Товарищ старший лейтенант, — говорит он, — я же не первый раз.

— Первый, — говорит Зорин. — На этом поле — первый. И ветер здесь надо заново проверить на первом надёжном ориентире, и посадочных ориентиров у тебя тут два, а не шесть.

Я стою в стороне и не вмешиваюсь, потому что Зорин прав, а ещё потому что моя роль сегодня другая.

— Соболю, — говорю я, когда осмотр закончен. — Я иду с вами.

Он мгновенно напрягается.

— Сяду у стрелка, — говорю я. — Шлемофон воткну. Разговаривать не буду вообще.

— Товарищ командир, — говорит Соболю осторожно, — а если...

— В расчёт и обычные решения не вмешиваюсь. При непосредственной опасности вмешиваюсь, как обязан. А ошибки маршрута разбираем после посадки.

— Зачем тогда лететь?

— Чтобы слышать, — говорю я. — Мне нужно услышать, как у вас в кабине принимаются решения. Из землянки этого не слышно.

Кутепов уступает мне своё место с таким лицом, будто его выгоняют из дома. Я устраиваюсь, втыкаю шнур и сразу вспоминаю осенний перегон, когда после травмы колена возвращался на собственной машине пассажиром.

Тогда мне было унижительно.

Сейчас — нет. Разница, оказывается, в том, кто принял решение.

Взлетают они хорошо.

Первые двадцать минут я слушаю образцовый экипаж: доклады короткие, Гриценко даёт курс, Соболю подтверждает, радист из верхней кабины докладывает обстановку. Всё как на разборе.

На двадцать третьей минуте у Гриценко меняется голос.

Он не говорит ничего тревожного. Он просто перестаёт докладывать так же часто, и в паузах слышно, как он там возится.

Проходит ещё три минуты.

— Командир, — говорит он наконец. — Проверь курс.

— На курсе.

— На курсе, но... — Пауза. — Командир, у нас снос больше расчётного. Я его взял по данным метео, а он больше.

— Насколько?

— Сейчас... — Ещё пауза, длинная, и в ней слышно, как шуршит карта. — Градуса на четыре. Может, пять.

— Сколько мы с ним идём?

— Минут семь.

У меня в шлемофоне — их дыхание, и мне до боли в скулах хочется сказать одну фразу. Всего одну: «считай от последнего надёжного, не от расчётного». Гриценко сейчас будет считать от расчётной точки, которой у него уже нет.

Я молчу.

— Значит, мы правее, — говорит Соболев. — Насколько правее?

— Пять на семь минут... — Гриценко считает вслух, и слышно, как он сбивается. — Километра три. Три с половиной.

— Что делаем?

И вот здесь Гриценко делает то, ради чего я сюда залез.

— Командир, дай мне полторы минуты, — говорит он. — Я пересчитаю не от расчётной, а от последнего, что я видел точно. Я видел изгиб балки в двадцать один сорок четыре.

— Даю две, — говорит Соболев. — Держу курс. Считай.

Полторы минуты в кабине никто не говорит ни слова. Я сижу на месте стрелка, смотрю в темноту и чувствую, как у меня отпускает между лопатками.

— Есть, — говорит Гриценко. — Курс левее на шесть. Выход на ориентир будет позже расчётного на три минуты. Три минуты, командир, я их не отыграю без превышения режима.

— И не надо, — говорит Соболев. — Пойдём с опозданием. Я доложу.

На ориентир они выходят с опозданием на две минуты пятьдесят.

Разбор мы делаем сразу после посадки, на стоянке. Дёмин, Пшеничный и Кутепов ждали у рулёжки и подходят к фонарю Зорина.

Зорин начинает с очевидного:

— Ты поправку на снос откуда брал?

— С метеосводки.

— А проверял по чему?

— Не проверял, — говорит Гриценко.

— Вот отсюда и три минуты, — говорит Зорин.

— Стой, — говорю я. — Про три минуты я хочу подробнее. Гриценко, ты думаешь, за что тебя сейчас ругают?

— За снос.

— Нет. Снос ты взял неправильно, это ошибка, за неё в другой раз будешь переделывать расчёт трижды. Ругают тебя не за это.

Он смотрит непонимающе.

— За семь минут, — говорю я. — Ты заметил несоответствие не сразу. Сколько ты сидел с ощущением, что что-то не так, прежде чем сказать вслух?

Гриценко краснеет.

— Минуты три, — говорит он. — Может, четыре.

— Почему молчал?

— Хотел сначала убедиться. Чтобы не сказать ерунду.

— Вот, — говорю я. — Вот это главное сегодня. Дёмин, Пшеничный, Соболев — слушайте. Ошибку в расчёте делает каждый, и её можно исправить. А четыре минуты молчания исправить нельзя: они уже потрачены.

Соболев говорит, глядя в землю:

— Я тоже виноват. Я слышал, что он возится, и не спросил.

— Правильно, что сказал. Теперь считаем дальше. — Я поворачиваюсь к остальным. — Сегодня вы опоздали на три минуты в учебном полёте. Скажите мне: во что это обойдётся, если так же опоздает один экипаж из четырёх, которые должны прийти на три разных площадки в одну и ту же минуту?

Пшеничный отвечает первым, и по его лицу видно, что он понял это не сейчас, а ещё на земле, услышав доклад Соболева о задержке.

Глава 3



— Первые двое разбудят всех, — говорит он. — А третий придёт на уже проснувшийся аэродром.

— И?

— И третьему будет очень плохо, — говорит Пшеничный. — Потому что они успеют.

— Всё, — говорю я. — Разбор окончен. Гриценко, завтра переделаешь расчёт на все три варианта ветра. Не за наказание — за пользу.

Он кивает. Он не выглядит раздавленным, и это ровно то, что мне нужно.

Когда молодые расходятся, Литвинов, который всё это время стоял позади и слушал, говорит:

— Ты заметил, что они уже спорят твоими словами?

— Не моими. Своими.

— Своими, но по твоей схеме.

— Схема не моя, — говорю я. — Схема простая: сначала найди, чего не хватает, потом решай. Её придумали задолго до меня.

В штаб соединения я еду в пятницу, на полуторке, по дороге, которая после дождей превратилась в кашу, и трясусь два часа с листом молодых за пазухой.

В штабе — блиндаж, карта на всю стену, четыре телефона и запах мокрого сукна. Принимает меня подполковник Ратников, оперативный, человек с абсолютно серым от недосыпа лицом.

— Что у вас? — спрашивает он, не отрываясь от карты.

— Я по задаче на дальнейшее снабжение.

— Задача есть. — Он тычет карандашом. — Вот район. Работать по площадям, ночами, по возможности каждую ночь. У меня записано: воздействие на транспортные перевозки противника.

Вот здесь я не должен сделать ту ошибку, которую делал раз двадцать в прошлой жизни: сказать «это глупость».

— Товарищ подполковник, — говорю я. — Задачу принимаю. У меня просьба, и она не про отмену.

— Говорите.

— Назовите мне признак, по которому через неделю мы с вами поймём, сработало или нет.

Ратников наконец поднимает голову.

— В каком смысле?

— В прямом. Мы отработаем семь ночей по площадям. Сожжём семь боекомплектов и, допустим, не потеряем никого. Через неделю вы меня спросите: результат? Что я вам отвечу? «Бомбили в заданном районе»?

— Обычно так и отвечают.

— Поэтому я и спрашиваю, — говорю я. — Мне нужен признак, который можно проверить. Не для отчёта — для работы. Если признака нет, мы не узнаем, что делаем правильно, и будем повторять любую ерунду хоть месяц.

Ратников кладёт карандаш.

— Вы что-то принесли, — говорит он утвердительно.

Я достаю лист.

Он читает его минут пять, молча, ведя пальцем. На третьей колонке останавливается. На строчке «данных по третьему полю недостаточно» хмыкает.

— Кто писал?

— Два лётчика и два штурмана из моей эскадрильи. Молодые. Часть из них просит перевода: Дёмин в штурмовую, Пшеничный в ночную лёгкую авиацию.

Ратников поднимает брови.

— И вы им дали копаться в снимках?

— Я им дал задачу, на которую у нас с вами нет ответа, — говорю я. — И они за двое суток нашли зависимость. Утренние рейсы держатся на ночной работе. Ремонт сосредоточен и не рассредоточивается. Горючее одного узла обслуживает несколько стоянок.

— Это предположения.

— Это предположения с пределами, — говорю я. — Там, где они не знают, написано «неизвестно». Товарищ подполковник, я не прошу утверждать цель по этому листу. Я прошу доразведку.

Ратников встаёт и идёт к карте.

— Что вы хотите проверить?

— Три вещи. Первое: где у них сосредоточен ремонт. Второе: сколько полей завязано на один склад горючего. Третье: в какие часы ночью у них на площадках идёт работа. Это можно снять ночной съёмкой или установить наблюдением на рассвете.

— И потом?

— И потом я вам принесу не «район», а перечень точек с тем, что будет нарушено, — говорю я. — И вы сможете спросить с меня по этому перечню.

Ратников смотрит на карту. Долго.

— Гущина знаете? — спрашивает он наконец.

— Работали. Молодые уже разбирали с ним эти снимки; знают, чего недостаёт.

— Гущин пойдёт. — Он накрывает трубку одного из телефонов ладонью, но не снимает её и возвращает руку к карте. — Иванов, скажу прямо: у меня наверху требуют вылетов. Не

результата — вылетов. Мне отчёт за неделю писать, и в нём должно быть число самолёто-вылетов, а не ваши три колонки.

— Я вам дам вылеты, — говорю я. — У меня всё равно только четыре готовых машины, и больше семи ночей подряд я летать не смогу физически. Но пусть эти вылеты будут туда, где мы потом сможем посмотреть.

— Ваши двадцатидвухлетние пусть готовят материалы для Гущина, — говорит Ратников. — Раз они это читали, пусть и укажут ему, что снимать.

— Есть.

— И, Иванов. — Он останавливает меня у двери. — Если ваш перечень окажется пустышкой, я вас не защищу. У меня не хватит на это ни времени, ни желания.

— Мне защита не нужна, — говорю я. — Мне нужна доразведка.

Задание Гущину пишут они.

Я привожу их к нему в субботу утром и говорю одну фразу:

— Вы читали снимки. Вы знаете, чего в них не хватает. Объясните человеку, который полетит, что снимать.

И ухожу в угол.

Первые десять минут выходит плохо — не потому, что они не знают, а потому, что говорят как на занятии.

— Нам нужно третье поле полностью, — говорит Дёмин. — С высоты, с перекрытием, чтобы видеть оба ангара и площадку.

— Полностью, — повторяет Гущин без выражения. — С какой высоты?

— С той, с какой видно.

— С двух тысяч мне видно всё, и с двух тысяч меня снимут первым же заходом истребителя, — говорит Гущин. — У них там пара дежурит с рассвета, я вчера смотрел сводку. Дальше.

Дёмин замолкает.

— Товарищ капитан, — говорит Пшеничный. — А что вы вообще можете сделать за один проход?

Гущин смотрит на него уже другими глазами.

— Один проход по прямой, — говорит он. — Двенадцать-четырнадцать снимков с перекрытием. Ширина полосы съёмки зависит от высоты. Разворот над целью я делать не буду ни за что, потому что второй заход над аэродромом — это способ не вернуться.

— Значит, один проход и одна линия, — говорит Пшеничный. — Тогда давайте выберем линию так, чтобы она задела то, что важнее всего.

— Вот, — говорит Гущин. — Вот это разговор.

Они склоняются над схемой втроём, и Рябинина двигает им линейку.

— Если идти с юго-запада на северо-восток, — говорит Гущин, — линия ляжет через ангара и площадку, но склад и подъезд останутся за краем.

— А если с запада? — Дёмин кладёт линейку поперёк прежнего маршрута.

— Тогда захвачу подъезд и краем — ангара. И пройду прямо над зениткой, которую они там держат. Мне это не нравится, но я это сделаю, если вы объясните, зачем.

Соболь смотрит на отметку зенитной точки, потом на разведчика.

— Риск понимаю. Но без подъезда мы не отличим ремонт от склада узлов и отправим ночью людей по неподтверждённой цели. Если ремонт — у них должно быть видно, что машины к ангарам заводят и выводят. Колея. Следы разворота. Масляные пятна на площадке.

— Масляные пятна я вам ночью не сниму, — говорит Гущин.

— А днём?

— Днём — сниму. Днём я туда полечу на рассвете, когда у них ещё низкое солнце и всё, что имеет высоту, даёт тень. — Он поворачивается ко мне: — Иванов, вы это специально устроили?

— Что?

— Что они мне объясняют, зачем, а не приказывают, что.

— Специально, — говорю я.

Дальше они пишут заявку, и я не вмешиваюсь ни разу.

В окончательном виде она занимает полстраницы и состоит из трёх пунктов с приоритетом: первое — третье поле, линия с запада, рассвет, низкое солнце; второе — склад на втором поле, направления следов автоцистерн; третье — если останется горючее и не будет перехвата, повторный проход над первым полем, чтобы сравнить с сентябрьским.

Внизу приписка, которую вписывает Гриценко: «Если выполнимо только одно — выполнять первое».

— Вот эта строчка, — говорит Гуцин, тыча в неё пальцем, — стоит всей вашей бумаги. Обычно мне пишут пять пунктов и все главные.

— А как вы обычно выбираете? — спрашивает Гриценко.

— Сам, — говорит Гуцин. — В воздухе. И потом мне на земле объясняют, что я выбрал неправильно.

Гуцин выходит перед рассветом в воскресенье и в понедельник, и во второй раз возвращается с пробоиной в киле и с плёнкой, за которую я готов простить ему всё.

Проявляют до полудня. Печатают до трёх. В четыре мы садимся за стол — я, Литвинов, Гуцин, Рябинина и четверо молодых.

— Показываю по порядку, — говорит Гуцин. — Поле первое. Стоянки, рассредоточение, полоса. Работа есть, но техники мало.

— Поле второе.

— Вот здесь, — Рябинина двигает снимок, — ёмкости, обвалование, подъезд и следы автоцистерн в три направления.

— В три, — повторяет Дёмин.

— В три, — подтверждает она. — Одно к первому полю, одно к третьему и одно куда-то на юг, туда мы не летали.

— Поле третье, — говорит Гуцин и кладёт последний снимок. — И вот это самое интересное.

Все наклоняются.

Третье поле выглядит скучно: полоса, несколько построек, редкие машины.

— Смотрите на постройки, — говорит Рябинина. — Вот эти два ангара. Крыши новые — светлее. Рядом площадка с твёрдым покрытием и следы гусеничного тягача. И вот это.

Она показывает тонким пальцем на тёмное пятно.

— Что это?

— Шлак, — говорит Рябинина. — Или окалина. Я такого на аэродромных снимках не видела ни разу, кроме как у ремонтных.

— То есть мастерская здесь, — говорит Пшеничный.

— То есть признаки постоянного обслуживания здесь, — поправляет Гуцин. — А мастерская это или склад узлов, я вам не скажу, потому что внутрь не заглядывал.

Литвинов, до этого молчавший, берёт карандаш.

— Теперь давайте то, что нас интересует больше всего, — говорит он. — Отделим постоянное от временного. Гуцин, где у них ложные?

— Вот, — говорит Гуцин без паузы. — И вот. Там огни ночью горят исправно и правильно, а днём — вытоптанной травы нет.

— А запасные?

— Вот эта площадка и вот эта. На них ничего не стоит, но они укатаны.

Литвинов сводит всё на одну кальку — тонкими линиями, по своей привычке, — и минут через двадцать поднимает голову.

— Паша, — говорит он. — Нехорошо.

— Говори.

— Оно связано не последовательно, а параллельно, — говорит Литвинов. — Если бы у них было так: склад — потом ремонт — потом стоянка, мы бы вырубили одно звено и всё встало. А у них три поля, и каждое даёт другим что-то своё. Убери склад — они сутки-двое возят автоцистернами с юга. Убери ремонт — они летают на исправных, пока не накопятся неисправные. Убери стоянку — они рассредоточат машины по двум оставшимся.

— То есть одним ударом мы срываем сколько?

— Часть утренних вылетов, — говорит Литвинов. — Не все.

— А чтобы сорвать утро целиком?

Литвинов кладёт карандаш и смотрит на меня.

— Нужно в одну ночь по трём, — говорит он. — Всем трём, с интервалом в пределах часа, чтобы они не успели перебросить людей и тягачи с поля на поле.

За столом становится тихо.

— У нас четыре машины, — говорит Соболев.

— До семи доведём после получения узлов, — говорит Плешаков от двери; он пришёл минут пять назад и стоит, вытирая руки.

— Даже семь, — говорит Литвинов. — На три поля семью машинами — это двум по две, третьему три.

— Мало, — говорит Дёмин.

— Мало, — соглашаюсь я.

И вот тут прежний способ усиления перестаёт мне помогать.

У переправы мы уже работали тремя группами, но на одном участке в восемь километров: к своим пяти машинам добавили одно звено и подготовили всех на одном поле. А здесь три отдельных аэродрома, и каждому нужно достаточно машин, чтобы нарушить его работу, а не только обозначить удар. Не потому, что я хочу больше подчинённых. Потому что у объекта три ноги, и, отрубив одну, ты получаешь хромого, а не лежащего.

Значит, нужны три группы. Значит, нужен кто-то, кто согласует их время. Значит, нужны полномочия, которых у меня нет.

Я смотрю на своих молодых, которые сидят над снимками, и думаю, что месяц назад этого разговора вообще не получилось бы.

— Ладно, — говорю я. — До трёх групп мы ещё дойдём или не дойдём, это решаю не я. А вот что мы точно можем сделать сейчас — это подготовить свою часть так, чтобы она годилась для любого числа групп.

— Как это? — спрашивает Гриценко.

— Так, что маршрут, который вы проложите, должен быть пригоден не только для вас, — говорю я. — Его должен уметь пройти чужой экипаж по вашим указаниям.

— Наш маршрут? — переспрашивает Дёмин.

— Ваш, — говорю я. — Участок от поворотного до цели и запасную полосу для всей группы. Считаете вы четверо. Отвечаете вы четверо. Я приму или не приму.

Они уходят с картами в понедельник вечером и приносят мне вариант во вторник в обед. Вариант скверный.

Не потому, что глупый, — потому что торопливый. Участок проложен грамотно, поворотные выбраны удачно, а вот запасная полоса выбрана по одному признаку: она ближе всех.

— Почему эта? — спрашиваю я.

— Сорок километров от нашего поворотного на отходе, уже над своей территорией, — говорит Дёмин. — Ближайшая. Если у кого-то повреждения, ему туда двенадцать минут.

— Кто из вас там был?

Молчание.

— Кто-нибудь говорил с БАО, который её обслуживает?

— Нет.

— Идите разговаривайте, — говорю я.

Они возвращаются через сутки, и на этот раз Дёмин начинает первым, причём с непривычным для него выражением лица — смесью злости и азарта.

— Товарищ командир, туда нельзя.

— Поясните.

— Полоса ориентирована так, что заход с нашей стороны — через высокий берег, — говорит Дёмин и разворачивает свой набросок. — Летом там садились, а сейчас у них по краю размыло, и они сами садятся только с обратным курсом. Значит, нам, приходящим с запада, надо делать круг над полем. Ночью, с повреждениями, с чужим стартом.

— Дальше.

— Дальше хуже, — говорит Пшеничный. — Мы спросили про грунт. Он держит, но после дождя — двое суток не держит. У них за последнюю декаду трое суток дождя.

— Вывод?

— Мы её убираем из основных, — говорит Соболев. — Оставляем как «крайний случай, посадка на брюхо, экипаж вывезут».

— А что вместо?

— Вот эта, — говорит Гриценко и кладёт палец. — Семьдесят два километра вместо сорока. Дальше, да. Но заход с нашей стороны прямой, полоса длиннее, покрытие лучше, и, главное, у них есть ночной старт и дежурный связист, мы проверили по телефону.

— Двадцать одна минута вместо двенадцати, — говорю я. — Это девять лишних минут для человека с повреждённой машиной. Вы это понимаете?

— Понимаем, — говорит Дёмин. — Мы поэтому и спорили полдня.

— Кто был за ближнюю?

— Я, — говорит Дёмин. — До тех пор, пока не представил, как я на одном моторе в темноте делаю круг над незнакомым полем, чтобы зайти с обратным курсом.

Я беру их лист.

Внизу, под расчётом, стоят четыре подписи.

— Так, — говорю я. — Принимаю. И вот что я сейчас сделаю. — Я беру карандаш и пишу поверх: «Участок от поворотного до цели и выбор запасного аэродрома — расчёт лётчиков Дёмина, Соболева, штурманов Пшеничного и Гриценко. Утверждаю».

— Зачем фамилии? — спрашивает Гриценко.

— Затем, что по вашему расчёту пойдёт чужой экипаж, — говорю я. — И если он сядет живой, это будет ваша работа. А если не сядет — тоже ваша.

Соболев медленно кивает.

Зорин устраивает проверку в четверг и делает это хитро: он берёт экипаж из соседней эскадрильи, который наших молодых в глаза не видел.

Лётчик Кайдалов — рослый, самоуверенный, из тех, кто заранее знает, что чужие расчёты хуже собственных. Штурман Жданов — постарше, спокойный.

— Задача, — говорит им Зорин. — Учебный маршрут. Работаете по этому описанию и своей карте. Разъяснений авторов до полёта не будет; если описание неоднозначно, не угадывайте. Проверяйте место штатным способом.

Кайдалов читает листок и усмехается.

— Чего тут идти.

Идут они ночью, и я слушаю их выход на земле, у аппарата, вместе с четырьмя авторами, которые за два часа не садятся ни разу.

Всё идёт хорошо до второго поворотного.

— Второй ориентир не наблюдаю, — говорит Кайдалов.

Пауза.

— Наблюдаю, — говорит он через минуту. — Прошёл.

Ещё через восемь минут:

— На контрольную точку не вышел. Нахожусь... южнее, километров на шесть.

Дёмин белеет.

Они выбирают сами: Жданов восстанавливает место по реке, и через двенадцать минут Кайдалов выходит куда надо и заканчивает маршрут.

На земле он подходит к нам, держа наш листок двумя пальцами, как дохлую мышь.

— Кто писал?

— Мы, — говорит Дёмин.

— У вас тут, — говорит Кайдалов, — «второй поворотный — отдельно стоящая роща у изгиба балки». Так вот, товарищ лётчик, там две балки. Рядом. И у обеих изгиб. И у обеих роща.

— На карте одна, — говорит Гриценко.

— На карте одна, — соглашается Жданов спокойно. — А с воздуха ночью — две. Вторая на карте не обозначена, она мелкая. Мы взяли первую попавшуюся и ушли южнее.

Наступает пауза, в которой я очень хочу вмешаться и не вмешиваюсь.

— Ваша ошибка? — спрашивает Кайдалов, глядя на Дёмина сверху вниз.

— Наша, — говорит Дёмин.

Хорошо сказал. Без «но».

— Товарищ Жданов, — говорит Пшеничный, — а как вы их отличили, когда разобрались?

Жданов пожимает плечами.

— По тому, что за правильной через две минуты идёт дорога с насыпью, а за неправильной ничего.

— Вот, — говорит Пшеничный, и я вижу, как у него загораются глаза. — Значит, нельзя писать один признак. Надо писать последовательность.

Они переделывают описание за ночь.

В новом варианте нет «отдельно стоящей рощи». В нём написано так: «после первого поворотного на заданном курсе — балка с рощей; признак подтверждения — через две минуты полёта пересечение дороги с насыпью, идущей поперёк курса; при отсутствии насыпи взята южная балка, повернуть на четыре влево и идти до реки».

То есть они не просто назвали место. Они написали, как проверить, что это оно, и что делать, если это не оно.

Повторная проверка — в субботу, с другим экипажем, потому что Кайдалов, к его чести, сам предложил: «Пусть идут те, кто вообще ничего не слышал».

Идут молча. Проходят участок без единого вопроса. На разборе командир говорит одну фразу:

— Описание нормальное. Насыпь помогла.

Всё.

Четыре человека стоят и смотрят друг на друга, и я вижу на их лицах то, чего не даст никакая моя речь: они только что убедились, что их работа перенесла чужого человека через темноту.

Дёмин ловит меня вечером у столовой. Один.

— Товарищ командир.

— Слушаю.

— Рапорты, — говорит он.

Я жду.

— Вы их... — Он сглатывает. — Вы им дадите ход?

— Дам, — говорю я. — Как обещал. После операции.

— А если мы...

— Дёмин, — говорю я. — Давай я скажу сам, чтобы ты не мучился. Я не собираюсь брать с вас сейчас никакого решения. Ни сейчас, ни завтра. Вы сделали за эту неделю настоящую работу, вам от неё тепло, и вы сейчас в таком состоянии, что готовы сказать «остаёмся». Так вот: не говори.

— Почему?

— Потому что это будет решение под впечатлением, — говорю я. — А мне нужно ваше решение на трезвую голову. Отработаем — тогда и скажете. И если скажете «уходим», я отвезу бумаги лично и напишу на каждой, что вы четверо — готовые специалисты и что мне жаль вас отдавать. Это будет правда.

Дёмин вдавликает каблук в сырую глину. Над нами хлопает брезент столовой.

— Товарищ командир, — говорит он наконец. — А вам не обидно?

— Обидно, — говорю я. — Мне очень обидно, Дёмин. Мы потратили на это время, которого у нас не было, и мне ужасно не хочется, чтобы вы ушли. Но обида — это моё личное дело, а не ваше.

Он стоит ещё секунду и уходит.

Поздно вечером я сижу над картой один.

На столе — их калька с тремя полями, расчёт участка с четырьмя подписями, донесение Гущина и лист, на котором я вторые сутки пытаюсь написать то, чего у меня нет права написать.

Потому что задача уже есть, и она уже понятна, и у неё есть цена в днях и в утренних рейсах, — а решить её эскадрилей из семи машин нельзя. Нужно три группы, поднятые с разных полей в одну ночь, с разницей во времени в пределах часа. Нужен человек, который сведёт их время. Нужен приказ, который я не могу отдать.

Я могу это предложить. И предложить придётся так, чтобы Ратников не увидел в этом просьбу дать мне больше людей.

Я отодвигаю кальку и нахожу под ней письмо: весь вечер оно лежало придавленное картой.

Оно пришло позавчера на прежний адрес полевой почты части. Мария получила мою просьбу из дороги, а теперь прислала новый адрес госпиталя. Оба номера наконец подтверждены письмами, и нам больше не надо угадывать станции.

Мария пишет коротко и по делу, как всегда.

Что госпиталь развернули в школе, что в классах поставили по двенадцать коек и что на стене в одном осталась карта полушарий, которую никто не решается снять.

Что у неё украли валенки и что она из-за этого плакала — не из-за валенок, а просто подвернулось.

Что она получила моё сентябрьское и что не поняла одну фразу, а переспросить долго, поэтому пусть я больше так не пишу.

В конце — три строки, из-за которых я читаю письмо третий раз:

«Ты когда-то спрашивал, не тяжело ли мне писать человеку, которого я плохо знаю. Отвечаю: тяжело было первые полгода. Сейчас нет. Я знаю тебя по тому, что ты делаешь и как рассказываешь. Этого оказалось достаточно, чтобы решать самой».

Я откладываю письмо и беру карандаш.

«Начальнику оперативного отдела. Докладываю: по результатам доразведки установлено...»

Пишу минут сорок. Без прилагательных, с пределами там, где не знаю, и с прямым выводом в конце: удар по одной площадке даёт частичный результат; для срыва утренней работы узла требуется одновременное воздействие по трём полям в пределах часа; сил одной эскадрильи для этого недостаточно.

Ниже приписываю то, за что меня, возможно, выругают:

«Прошу при планировании учесть, что участок маршрута и выбор запасного аэродрома подготовлены экипажами эскадрильи и проверены посторонним экипажем в тренировочной обстановке; расчёт пригоден для использования другими группами».

Перечитываю, ставлю дату и гашу лампу.

За брезентовой стенкой кто-то из молодых смеётся — коротко, не пьяно, просто смеётся, как смеются в двадцать два года, когда за день выспался и поел. Слышно, как хлопают ладонью по столу.

Четыре рапорта лежат в жестяной коробке, в двух шагах от меня, с моей подписью в углу.

Они останутся там, пока их авторы не скажут своего слова. Я его не знаю и, честно говоря, боюсь загадывать.

А над картой висит другое, и от этого не спрячешься: задача, которая уже не помещается в мою эскадрилью, и которую придётся либо отдать кому-то, кто больше меня, либо вырасти до неё самому.

Оба варианта мне не нравятся одинаково.

Глава 4



Заявления лежат в жестяной коробке с сентября. Октябрь ушёл на текущие вылеты, ремонты и уточнение разведки; общий удар всё откладывали. Я предлагал пустить рапорты, не дожидаясь его, но авторы оставили их до обещанного разговора. Теперь кончается ноябрь. На каждом есть моя отметка о получении; решения о переводе я пока не подписал.

Четыре бумаги: Дёмин, Пшеничный, Гриценко, Кутепов. Разные просьбы, разные руки. Я храню их у себя до обещанного разговора, чтобы они не пошли по инстанциям раньше решения авторов.

Пшеничный и Дёмин приходят ко мне в землянку в четыре часа дня, когда южная темнота уже лезет из балки наверх и когда я как раз собираюсь на стоянки.

Входят двое, а стучится один — Пшеничный. Второй мнётся сзади.

— Товарищ капитан, разрешите.

— Заходите, дверь не держите, тепло уходит.

Они заходят и встают. У обоих в руках планшеты, у Пшеничного из-под планшета торчит свёрнутая карта, перехваченная резинкой от банки.

Тепла в землянке, надо сказать, немного — печка из бочки прогорела, а нового угля нам привезли двенадцать вёдер на всю базу, и он лежит под охраной, как боеприпас.

— Садитесь.

Они садятся на нары. Пшеничный кладёт карту на стол и разворачивает её, придавив с одного края моей кружкой.

— Вот, — говорит он. — Прошли по вашему заданию. Оба маршрута.

Я смотрю. Карта хорошая. На ней всё, что я просил: отметки времени, места, где сбивались, места, где восстанавливались, три возможные полосы на обратном пути и одна помеченная крестом — с припиской «непригодна, канава поперёк».

— Кто ходил на дальнюю?

— Экипаж Кулиша.

— Не ваш?

— Не наш, — говорит Пшеничный и почему-то краснеет. — Мы его строили, а прошёл он.

— И как?

Пшеничный молчит секунды три.

— Хорошо прошёл, — говорит он. — Товарищ капитан, я, знаете, чего не ожидал? Он прошёл по нашей бумажке. Мы её вечером чертили, а он по ней ночью вышел на точку и вернулся. Чужой человек. Мы с ним до этого и не разговаривали толком.

— И что?

— И то, что мы, оказывается, работали не на себя.

Он говорит это так, будто открыл закон природы. Собственно, он его и открыл.

Дёмин всё это время сидит, глядя в пол. Он младше на год, рыжий, весь в веснушках, которые не сошли даже к ноябрю, и говорить ему труднее.

— Дёмин.

— Я.

— Твоя половина.

Он поднимает голову.

— Товарищ капитан, а можно я не про маршрут?

— Можно.

— Я про удар. — Он трёт колено ладонью. — Вы нам дали разобрать их день. Ну, как у них идёт снабжение. Мы считали трое суток, вы помните, я ещё ругался, что это работа для писарей.

— Помню.

— Так вот. Я теперь знаю, что будет, если мы сядем на их транспортное поле утром. Не «ударим, и они испугаются», а конкретно: у них в этот день не улетит столько-то рейсов, и там, — он машет рукой в сторону, где за двести с лишним километров стоит чужая окружённая группировка, — там столько-то не получают. Я первый раз понимаю, что я делаю, а не куда я лечу.

Он замолкает.

— И?

— И я хочу это доделать, — говорит Дёмин. — Заявление отдайте.

Пшеничный кивает.

— И моё тоже отдайте, товарищ капитан.

Вот тут у меня внутри дёргается очень старая жила. Пятидесятипятiletняя. Потому что я знаю, как это делается: сейчас положено встать, сказать что-нибудь про доверие и родину, пожать руки и пустить по человеку тёплую волну, от которой они выйдут из землянки на голову выше.

Я этого не делаю.

Не потому, что мне не хочется — как раз хочется. А потому, что тёплая волна держится сутки, а потом они попадут в первую же настоящую дрянь и вспомнят не свои слова, а мои. И решат, что их уговорили.

Я достаю из коробки их два заявления и кладу их на стол.

— Забирайте.

Они берут. Дёмин свою сразу сминает.

— Не мни, — говорю я. — Положи в карман.

— Зачем?

— Затем, что уговор был такой: я поддерживу перевод после операции, если желание останется. Он в силе. Не потому, что я сомневаюсь в вас сегодня, а потому, что обещание — это обещание.

Пшеничный складывает свою вчетверо и убирает. Дёмин разглаживает смятый лист на колене, не может выровнять угол и прячет как есть.

— Товарищ капитан, — говорит он. — А если мы после операции опять придём?

— Тогда я напишу «поддерживаю» и подпишу.

— И всё?

— И всё.

Он смотрит с недоверием.

— А как же... ну... вы же нас готовили.

— Готовил, — говорю я. — И если ты уйдёшь в штурмовую и там начнёшь считать чужой день перед вылетом, значит, я не зря вас готовил. А если ты останешься тут только потому, что тебе неловко смотреть мне в глаза, — значит, зря.

Дёмин фыркает и тут же делает виноватое лицо.

— Что?

— Да ничего. Просто я думал, вы обрадуетесь.

— Я обрадовался, — говорю я. — Я просто не буду вам этого показывать до конца операции. Потом покажу.

Позже приходят Гриценко и Кутепов. Гриценко просит своё заявление не так уверенно, как Дёмин, но говорит сам: хочет остаться в экипаже Соболя и пройти подготовленный маршрут. Кутепов мнётся у двери, затем добавляет, что его «туда, где стреляют» было со злости; здесь тоже его работа. Я возвращаю обоим бумаги с тем же правом передумать после боя.

Молодые уходят. Карту оставляют, и я долго сижу над ней один, и в этом есть что-то настолько знакомое, что мне становится смешно и тошно одновременно.

Ровно так же в моей прошлой жизни — в годах, которые здесь ещё не наступили, — мне на стол клали планшет с маршрутом, построенным двумя лейтенантами, которых я по именам-то знал через одного, и я говорил «принято» и шёл спать. И это было нормально. Так устроена работа.

А здесь мне двадцать один год, я капитан с сентября, и мне до сих пор физически трудно оторвать взгляд от чужой бумаги и не полететь по ней самому.

Распоряжение приходит через два дня.

Оно приходит не устно на стоянке, как у нас бывает в девяти случаях из десяти, а бумагой, и в этом весь смысл. Ратников кладёт её передо мной и, пока я читаю, стоит рядом и смотрит в сторону.

Подполковник выглядит ещё более усталым, чем на прошлом разборе: под глазами темно, ворот расстёгнут. На этот раз он принёс подписанное распоряжение по предложению, которое мы разбирали вместе.

Я читаю.

«...для выполнения задачи по нарушению работы транспортной авиации противника в районе... на период подготовки и проведения операции подчинить в оперативном отношении... возложить согласование действий на капитана Иванова...»

Дальше — участники: три группы, сформированные из трёх эскадрилий разной принадлежности. Дальше — границы: что я решаю сам, что согласую, чего не имею права трогать вовсе.

— Прочитали?

— Прочитал.

— Теперь прочитайте ещё раз то место, где написано «на период».

Я читаю вслух:

— «На период подготовки и проведения операции».

— Вот, — говорит Ратников. — Это не полк. Это не должность. Это не звание. Это бумага на одну работу, после которой вы снова будете командиром эскадрильи, а Дробышев — командиром своей, и он вам ничего не будет должен.

— Я понял.

— Ни черта вы не поняли, Иванов, — говорит он, и я слышу, что он говорит это без раздражения, а от усталости. — Вы сейчас пойдёте знакомиться и будете думать, что вам дали двух командиров. А вам дали двух командиров, у которых свои начальники, своё хозяйство, свои потери и свои обиды. И у каждого есть вежливый способ ничего не сделать.

— Какой?

— Отсутствие. У него не будет машин, потому что ремонт. У него не будет горючего, потому что не привезли. У него не будет экипажей, потому что медицина. И всё это будет правдой.

— Так что мне делать?

— Выяснить, что придёт на самом деле, — говорит Ратников. — Не по бумаге. И считать только это.

Знакомство занимает два дня и одну поездку.

Капитан Дробышев — однофамилец молодого помощника Курбатова, с которым мы возились на северных занятиях, — сидит от нас в сорока километрах, на поле, которое до войны было колхозным током, а теперь называется аэродромом. Он невысокий, плотный, лет тридцати пяти, с проседью и с той спокойной неторопливостью, которая бывает у людей, давно переставших спорить с обстоятельствами.

Он принимает меня в землянке, где стены обиты досками от ящиков, и первым делом наливает чаю.

— По бумаге у меня семь машин, — говорит он, придвигая мне кружку и раскрывая ведомость. — Я вам сразу скажу правду, чтоб потом не было базара. Семь — на бумаге. Реально сейчас четыре.

— А остальные три?

— Одна без мотора, ждём. Одна после посадки с убраннным шасси, там планер править надо, у меня специалистов таких нет. Одна летает, но я её ночью на дальнее не пушу, у неё правый мотор дурной, я ему на дальнем ночном маршруте не доверяю.

— К сроку сколько?

Дробышев думает.

— Пять, — говорит он. — Если мотор придёт — пять. Если не придёт — четыре. Шесть не будет, даже не считайте.

— Считаю четыре, — говорю я.

Он поднимает брови.

— Почему четыре, если я говорю пять?

— Потому что если я посчитаю пять и мотор не придёт, я буду сидеть и придумывать на ходу. А если я посчитаю четыре и придёт пятая — я обрадуюсь.

Дробышев усмехается в кружку.

— Вы, говорят, у себя всех заставляете отдельно писать, что видели, и отдельно, что подумали.

— Заставляю.

— Мне это донесли как жалобу.

— А вы как приняли?

— А я записал себе фамилию, — говорит он. — И, как видите, пригодилось.

Зорин — третий, и с ним мне проще всего и тяжелее всего.

Проще — потому что за год с небольшим он из колючего мальчишки, обвинявшего меня в трусости, вырос в человека, которому можно сказать три слова и уйти. Тяжелее — потому что я его учил, и от этого всё время тянет доучивать.

К этой операции Зорину поручили сборную группу: его звено и три экипажа соседней эскадрильи. Постоянную должность ему этим распоряжением не меняли.

Он ждёт меня у своей машины, в замасленной куртке, с обмороженным в марте и так и не сошедшим пятном на скуле.

— Товарищ капитан.

— Что у тебя реально?

— Шесть бортов, все живые, — говорит он. — Экипажей семь, из них два молодых. Горючее есть на операцию и на один запасной вылет. Бомб — вот тут беда.

— Говори.

— Зажигательных мало. Мне на топливо нужны зажигательные, а у меня их на два захода, и то если не делиться.

— С кем делиться?

— С Дробышевым. Ему тоже хочется.

— Ему на полосу зажигательные не нужны, — говорю я. — Он это знает?

Зорин прячет озябшие пальцы в рукавицы.

— Он это знает. Но он хозяйственный, тянет про запас.

Разговор о том, кому что достанется, мы устраиваем через три дня, и он оказывается самым важным разговором всей подготовки, хотя никто из нас в тот момент этого не понимает.

Собираемся на нашем поле, в штабной землянке. Стол составлен из двух, на нём карта, на карте — три поля.

Три аэродрома, с которых транспортная авиация работает на дальний фронт. Одно — с длинной укатанной полосой, второе — с топливным хозяйством и стоянками, третье — то, которое мы между собой зовём ремонтным: там у них мастерские, ангар, разобранные машины и то, что осталось от чужих самолётов после наших и не наших ударов.

Я начинаю с критерия, и на нём мы застреваем на сорок минут.

— Общая задача формулируется так, — говорю я. — Сорвать утренние вылеты транспортников в одно окно. Не уничтожить аэродромы. Не нанести максимальный ущерб. Сорвать утро.

Дробышев хмурится.

— «Сорвать утро» — это как в отчёте писать?

— В отчёте будете писать, что сделали. А работаем мы на это.

— Почему именно утро? — спрашивает Зорин.

— Потому что они работают волнами и основную массу рейсов делают с рассвета. Дёмин это считал трое суток, у меня его расчёт лежит. Если мы разнесём удары по разным дням, они каждый раз восстановятся к следующему утру и потеряют по чуть-чуть. Если мы попадём в одно утро втроём — они потеряют его целиком.

Дробышев смотрит на карту.

— Одно утро, — повторяет он. — А потом?

— А потом они его восстановят. Я вам не обещаю, что после нас там ничего не полетит. Это не тот случай.

— Тогда зачем?

Вот тут я и говорю то, ради чего всё затевал.

— Затем, что мне не нужны три ваши победы. Мне нужно, чтобы к восьми утра их машины стояли на земле. И поэтому я не буду вам говорить, как бить. Я вам скажу, что мне нужно, а вы мне скажете, чем вы можете это сделать, с вашими людьми и с вашими машинами.

Дробышев переглядывается с Зориным.

— Это, — говорит он осторожно, — довольно необычно.

— Что именно?

— Обычно приходит старший, который на период операции, и объясняет нам, как летать.

— Я не умею летать за вас, — говорю я. — Я не знаю ваших экипажей. Я знаю двух ваших командиров звеньев по фамилиям, и то потому, что читал сводку. Если я сейчас начну рисовать вам заходы, то к утру вы будете выполнять мой план, не веря в него, и в первую же минуту, когда всё пойдёт не так, вы будете ждать моего голоса, а его не будет.

— А его не будет?

— Его не будет, — говорю я. — Именно поэтому я и хочу, чтобы план был ваш.

Дальше начинается работа.

Я задаю всем один и тот же вопрос, и он им сначала не нравится:

— Назовите, что у противника останется возможным после вашего удара.

Дробышев берёт полосу.

— После меня, — говорит он, — у них будет несколько воронок на полосе. Из них половина на краю, потому что я реалист. Ночью они их не засыпят. Утром пригонят людей и технику, и к обеду будет ровное место.

— То есть?

— То есть я даю им несколько часов задержки. Не больше. И вот что важно, — он ведёт пальцем по карте. — Если у них рядом есть грунт, они просто откатятся в сторону и будут взлетать с целины. Смотрите: тут степь. Она у них укатана только в одном месте, но она везде.

— Значит, полоса — самая слабая цель из трёх?

— Полоса — самая заметная цель из трёх, — говорит Дробышев. — И самая слабая, да. Я вам это говорю не чтоб отвертеться, а чтоб вы знали.

— А если бить не полосу?

— Если бы я выбирал сам, я бы бил по стоянкам. Но по стоянкам ночью бить — это надо их сначала найти, а я найду полосу, потому что она длинная и белая. Своих штурманов я знаю.

— Принято. Зорин.

Зорин наклоняется над картой.

— После меня, — говорит он, — у них остаётся горючее в бочках и в бензозаправщиках. Это, между прочим, немало.

— Сколько?

— Не знаю сколько. Но заправить пару машин они смогут, а вот заправить двадцать за час — не смогут. Тут разница не в количестве, а в скорости. У них сейчас налив идёт быстро, из хозяйства. Когда хозяйства нет, они заправляют из бочек, вручную, и это долго. Помните, как у вас в августе сорок первого было на Кагуле?

— Помню.

— Вот. Мы сами зависели от подвозки и скорости заправки. Я про это потом всю весну думал.

— Как ты определяешь свой участок?

Зорин раскладывает три снимка, полученных от разведки.

— По обслуживанию, — говорит он. — Вот тут колея, она натоптана. Сюда ходят, отсюда нет. Вот обвалование, оно свежее, его насыпали в сентябре. Вот тут — он тычет ногтем — подъезд, и он укатан сильнее всех остальных. К складу боеприпасов так не ездят, туда раз в день, а сюда ходят постоянно.

— А свет?

— А свет — отдельно, — говорит Зорин. — Ночью у них стоянки подсвечены, слабо, но есть. Я по этому свету опознаю участок — понимаю, где я вообще нахожусь. Но бить я буду не по свету.

— Почему?

— Потому что свет они гасят за десять секунд, — говорит он, и я слышу в этой фразе свою собственную интонацию и внутренне морщусь. — Я по свету привязываюсь, а работаю по тому, что нашёл до этого: по колее, по обвалованию, по подъезду. Если погасят — я уже знаю, куда класть.

Дробышев смотрит на него с интересом.

— А если не погасят?

— Если не погасят, — говорит Зорин, — я всё равно буду думать, что это приманка, и проверю второй признак. Меня один человек в прошлом году от такого отучил.

Он не смотрит в мою сторону, и правильно делает.

— Ремонтное поле беру я, — говорю я. — И вот тут, товарищи, у меня самая противная цель из трёх.

— Почему? — спрашивает Дробышев. — По мастерским всегда хорошо ложится.

— Ложится хорошо. А результат считать нечем. Что у них осталось возможным после меня? Я вам скажу честно: не знаю. Если я попаду в ангар и в склад узлов, они потеряют возможность чинить неделю, а может быть, три дня, а может быть, у них там пусто и я сожгу пустой сарай. Мне это никто не подтвердит ни завтра, ни послезавтра. Фотоснимок покажет крышу.

— Так зачем тогда идти?

— Затем, что у них там сейчас стоят неисправные машины, — говорю я. — Транспортник, который не летает, — это тот же сорванный рейс, только надолго. И затем, что ремонт — единственная из трёх целей, которую нельзя восстановить к обеду.

Мы сидим над картой ещё час, и к концу этого часа три задачи расходятся окончательно.

Расходятся не только по целям, а по способам, по времени, по высотам, по подходу — потому что у Дробышева четыре машины и один сильный штурман, у Зорина шесть и два молодых экипажа, а у меня — своя эскадрилья и «тринадцатый».

И вот тогда Дробышев задаёт главный вопрос.

— Товарищ капитан. А кто нас связывает?

— В смысле?

— В смысле, кто командует всем этим ночью? Вы?

— Нет.

— Как нет?

— Так нет, — говорю я. — Ночью вами командуете вы. Мной командую я. Зорином — Зорин. Связывает нас критерий и время.

Дробышев откладывает карандаш.

— Ну а если у меня что-то пойдёт не так?

— Тогда вы решите сами.

— А если мне понадобится помощь?

— Помощи не будет, — говорю я. — Вот это надо принять заранее и трезво. Мы будем в трёх разных местах, за десятки километров друг от друга, ночью, каждый на своём горючем. Никто ни к кому не придёт.

В землянке становится тихо.

— Тогда зачем нас вообще собрали вместе? — говорит Дробышев.

— Чтобы мы попали в одно утро, — говорю я. — И чтобы мы знали, кто где, и не приняли друг друга за противника. Вот и вся общность.

Литвинов и оружейники сидят над характером поражения два вечера, и это работа, которую мало кто любит и без которой всё остальное — разговоры.

Старший техник-лейтенант Ясько, наш оружейник, человек тощий, лысеющий, с манерой начинать каждую фразу со слова «значит», раскладывает на столе свои таблицы.

— Значит, по горячему, — говорит он. — Зажигательных у нас на два захода. Это факт. Дальше начинается арифметика: чем мы их дополняем.

— Фугасными, — говорит Зорин.

— Значит, фугасными. И тут вопрос: сотками или крупнее?

— Крупнее.

— А почему крупнее?

Зорин отодвигает снимок, показывая промежуток между ёмкостями.

— Хочу достать под обваловку, — говорит он. — Только боюсь разрядить серию.

— Значит, неправильно, — говорит Ясько с удовольствием. — Вам не воронка нужна, вам нужно вскрыть ёмкость и разбросать содержимое. Вам нужна серия, а не одна яма. Сотками вы накроете площадь, вскроете больше и подожжёте вернее. Крупная у вас одна, и если она ляжет в двадцати метрах — вы её потратили.

Литвинов, слушавший молча, кивает.

— И интервал, — говорит он. — Виктор, интервал в серии посчитаешь с ним, не на глаз.

По полосе спор короче: там нужны воронки, и чем глубже, тем дольше их закапывать, и Дробышев забирает всё крупное, что у нас есть.

По ремонтному полю мы с Литвиновым сидим дольше всех.

— Ангар — это большой сарай, — говорит Литвинов. — У него крыша и стены, и внутри у них всё, ради чего мы идём. Фугасная его разворотит, но пожар даст не она.

— Значит, смешанно.

— Значит, смешанно, и вопрос — в каком порядке. Если передняя машина даст зажига- тельные, возникший огонь может помочь следующим положить фугасные точнее. Если сначала фугасные — я вскрою крышу и зажига- тельные попадут внутрь.

— И?

— И я не знаю, — говорит Литвинов честно. — По ремонтному ангару мы уже работали, но такой порядок смешанной серии на этих постройках я не проверял. Я склоняюсь ко второму, но я тебе не буду врать, что это проверено.

— Тогда пиши: решение штурмана, обоснование такое-то, именно этот порядок не про- верен.

— Пишу.

Мотористы приходят с другой стороны и портят нам всю красоту.

Плешаков появляется в землянке, когда мы уже почти закончили, садится, слушает пять минут и говорит:

— Сколько подвешиваем?

Ясько называет.

— Не пойдёт.

— Почему?

— Потому что полоса у вас, — говорит Плешаков, — укатанный грунт с неровностями, и она к утру подмерзает буграми. И потому что на нашем поле ночью сейчас минус восемь, а к рассвету минус двенадцать, и моторы будут тянуть лучше, чем в сентябре, — но разбег вы будете делать по этим самым буграм. Я вам дам предел по массе, и вы от него будете плясать, а не наоборот.

— Василий Фомич, у меня цель...

— У тебя цель, а у меня твои люди в конце разбега, — говорит Плешаков. — Предел такой. Хочешь больше — выбрасывай горячее и уменьшай радиус. Твой выбор.

Он кладёт на стол листок с пределами массы, подписанный инженером Верещагиным, и уходит.

Мы сидим и пересчитываем, и в итоге с ремонтного поля уходит одна машина: с полным боекомплектом её нельзя поднять с нашего тока, а с урезанным она не нужна.

Три задачи. Разные цели, разные боекомплекты, разные способы подтверждения.

— И запомните, — говорю я командирам напоследок. — Я не жду от вас трёх одинаковых результатов. У горячего будет виден огонь. У полосы будут воронки, которые увидит только фотоаппарат, и то если разведчик пройдёт. У ремонта может не быть ничего видимого вообще. Если через неделю кто-то скажет, что Зорин работал лучше Дробышева, потому что у Зорина красивее горело, — я эту мысль убью на месте.

Дробышев смотрит на меня и коротко кивает.

— Спасибо, — говорит он.

— За что?

— За то, что сказали это сейчас, а не после.

Репетицию связи мы устраиваем на земле, и она выглядит глупо ровно до той минуты, пока не перестаёт выглядеть глупо.

Три стола в трёх углах большой землянки. За каждым — командир группы и его радист. Посредине — Тимка с часами и тетрадью. У стены — Литвинов с картой. Между столами натянуты на проволоке два полотнища углом, чтобы никто не видел чужих жестов.

Глава 5



— Правила такие, — объявляет Тимка. — Вы работаете по утверждённым окнам. Вне окна не работаете. Я вам буду подавать то, что вы в это время могли бы услышать. Иногда я вам не подам ничего.

— А это зачем? — спрашивает радист Дробышева.

— А это затем, что в воздухе тебе тоже иногда ничего не подадут.

Первый прогон идёт гладко и потому бесполезно.

Второй я порчу нарочно.

По плану во втором окне моя группа передаёт короткое подтверждение выхода на рубеж. Тимка смотрит на меня, я качаю головой, и он молчит.

Дробышев за своим столом ждёт.

Проходит минута. Две.

— Что у вас? — спрашиваю я из-за простыни.

— Жду, — отвечает он.

— Чего?

— Вашего подтверждения.

— А если его не будет?

Пауза.

— Тогда... — Дробышев явно смотрит на своего радиста. — Тогда я запрошу.

— Запрашивайте.

Он запрашивает. Тимка не отвечает.

— Повторяю запрос, — говорит радист Дробышева.

Тимка молчит.

Проходит ещё три минуты. Я слышу, как за простынёй Дробышев начинает постукивать карандашом по столу.

— Иванов, — не выдерживает он. — Это что, проверка?

— Это работа. Что вы делаете дальше?

— А что я могу сделать? — говорит он, и в голосе у него наконец прорезается раздражение. — Я не знаю, где вы. Я не знаю, вышли вы или вас там уже нет. Я не знаю, изменилось ли что-нибудь в общем замысле.

— Вот, — говорю я. — Вот теперь мы дошли до сути. Сколько вы будете ждать?

— Пока не отвечу себе на вопрос, важно ли мне это.

— Отвечайте.

Он думает.

И то, как он думает, я запоминаю надолго, потому что это, в сущности, весь смысл затеи.

— Мне это не важно, — говорит Дробышев медленно. — Мне... мне вообще не нужно знать, вышли вы или нет. Я не могу вам помочь. Я не могу изменить свою цель. Мне от вашего подтверждения ничего не меняется.

— Тогда зачем вы его ждали?

— По привычке, — говорит он. — Потому что положено знать, где старший.

Мы разбираем это вслух при всех, и Тимка записывает то, к чему мы приходим.

Молчание старшего само по себе не является приказом менять задачу остальных групп. Отсутствие доклада отмечают; готовить поиск по просроченному возвращению будет земля. Каждый командир заранее устанавливает себе предел ожидания — по времени и по тому, меняет ли ожидаемое сообщение хоть что-нибудь в его собственных действиях. Если не меняет — не ждать вовсе.

— И самое главное, — говорю я. — Ни при каких обстоятельствах никто не идёт смотреть, что с соседом.

— Это надо отдельно проговорить? — спрашивает Зорин.

— Отдельно, письменно и под роспись, — говорю я. — Потому что желание слетать посмотреть — самое естественное желание на свете. Особенно у хороших людей.

Третий прогон мы делаем с погодой: Белова сидит рядом и через определённые промежутки подаёт вводные об изменении условий на одном из направлений. Дробышев меняет курс дважды и на второй раз выходит за собственный предел, что немедленно ловит Литвинов.

— Вы сейчас увели группу на двадцать два километра от расчётного, — говорит он. — А у вас на отходе запасная площадка вот тут. Вы её потеряли.

— Я про неё не подумал.

— Значит, думайте сейчас. Здесь это стоит слова. Там будет стоять дорожка.

К концу вечера на столе остаётся общая карта, а из землянки уходят три отдельные — каждая со своим маршрутом, своими окнами и своими запасными полями, и ни на одной из них нет ничего лишнего про соседей, кроме одного: где и когда они будут, чтобы не принять своих за чужих.

Плешаков приходит ко мне с ремонтным резервом за три дня до срока, и приходит мрачный.

— Командир, разговор.

— Говори.

— Я разобрал свой запас.

Он выкладывает на стол список. Я читаю и понимаю, почему у него такое лицо.

У Плешакова всю осень лежал под рукой, у нашей стоянки, комплект, который он собирал по крохам с самого севера: цилиндры, поршневая, свечи, магнето, шланги, хомуты, и — отдельной строкой — приспособления, которых на этом фронте не достанешь ни за какие деньги. Съёмники. Ключи. Его футляр с мерительным.

— Ты хочешь, чтобы я это раздал, — говорит он.

— Я хочу, чтобы на площадках, куда наши могут сесть повреждёнными, лежало хоть что-то.

— А если сядет наш «тринадцатый»? Или Мишарин? А у меня тут пусто.

— Тогда будет плохо.

Плешаков молчит.

— Василий Фомич, — говорю я. — Считаю вместе. Вероятность, что повреждённая машина сядет на нашем поле, — какая?

— Небольшая, — нехотя говорит он. — Если она дошла до нашего поля, значит, ей уже не так плохо.

— А вероятность, что кто-то сядет на запасной?

— Высокая, — говорит он. — Особенно у Дробышева. У него отход через голую степь.

— Значит?

— Значит, я должен отвезти своё железо чужим техникам, которых я не знаю, на площадку, где я не был, и надеяться, что они не разворуют его на портсигары.

— Да.

Плешаков берёт список и смотрит на него, как смотрят на телеграмму.

— Мерительный не отдам, — говорит он наконец. — Всё остальное разделю. Мерительный поедет со мной, если я сам туда поеду.

— А ты поедешь?

— А я поеду.

Транспорт я выбиваю у Ратникова — две машины и одну на обратный путь, и всё это стоит двух часов разговоров, потому что бензин у нас на юге теперь дороже уважения.

Один комплект заранее передали на Осиновку воентехнику второго ранга Шаповалу: дюраль, заклёпки, левая стойка и два колеса, ящик номер четыре. Сейчас едем на другую площадку — к Сычёву.

В первой кабине рядом с водителем едет Плешаков, я — в кабине второй машины. На остановках сверяем крепления и меняемся новостями. Пять часов в морозном гуле движков — тоже дорога; на последнем коротком участке пересаживаемся вместе под тент первой машины. Мы едем вдвоём, в кузове между закреплёнными ящиками, и трясёмся по степной дороге, которая ноябрём превратилась в застывшие колеи, твёрдые как кость. Степь вокруг плоская, серо-жёлтая, с полосами снега в бороздах. Ветер бьёт ровно и не кончается.

Площадка оказывается лучше, чем я думал: ровное поле у балки, три землянки, укрытие для машин из соломы и жердей, и — что важнее всего — люди.

Ответственный тут — воентехник первого ранга Сычёв, немолодой, с рыжими усами и руками, которые он всё время вытирает о бедра.

Плешаков выгружает ящики и первые двадцать минут ходит вокруг, как кот по чужому дому.

Я же задаю Сычёву единственный вопрос, который меня интересует:

— Что вы реально можете сделать, если к вам сюда сядет повреждённая машина?

Сычёв чешет усы.

— Смотря что повреждено.

— Не так. Давайте по-другому. Мотор менять можете?

— Могу, — говорит он. — За сутки. Если есть чем поднять.

— А есть чем?

— Треноги нет. Кран за тридцать километров, и он не всегда.

— То есть не можете.

— Могу, — упрямо говорит Сычёв. — Из бревна. Делали. Шесть человек, сутки, и половина суток уйдёт на то, чтобы бревно найти.

— Сваривать можете?

— Нет. Аппарата нет.

— Заклепать пробоину в плоскости?

— Это могу. И лист есть, немного.

— Сколько машин одновременно?

Сычёв смотрит на меня и понимает, к чему я веду.

— Одну, — говорит он. — Честно скажу: одну. Если две сядут, вторая будет ждать.

— Вот это мне и нужно было услышать.

Плешаков к этому времени уже открыл ящики и раскладывает содержимое прямо на разостланном брезенте, и Сычёв невольно подходит.

И тут между ними происходит то, чего я не планировал.

— Это что? — говорит Сычёв, показывая на съёмник.

— Это съёмник.

— Такого не видел.

— Такого нигде не видел, — говорит Плешаков хмуро. — Он один. Я его тебе оставляю.

Сычёв берёт железку, вертит и задерживает её на ладони.

— Оставляешь? Спасибо. Я тебе за него отвечаю.

— Слушай, — говорит он совсем другим тоном. — А там, где под втулку заходить, как лапы поставить, не подскажешь? У нас тут в сентябре мучились.

Полтора часа они сидят на ящиках и разговаривают. Я в этом разговоре не понимаю половины и не вмешиваюсь вовсе.

На обратном пути, уже в темноте, Плешаков говорит:

— Нормальный мужик.

— Отдал бы ему мерительный?

— Нет, — говорит он. — Но я ему показал, как из проволоки сделать шуп на три размера. Это не то же самое, но что-то.

Мы трясёмся по колеям. Под тентом всё равно холодно. На следующей остановке снова рассаживаемся по кабинам; ещё много часов мёрзнуть поверх железа незачем.

— Командир.

— Ну?

— Ты понимаешь, что мы сейчас сделали?

— Что?

— Мы отдали наш запас на случай, которого может не быть, — говорит Плешаков. — И если он не случится, я всю зиму буду локти кусать, что у меня тут нет цилиндров.

— Понимаю.

— И всё равно правильно, — говорит он и замолкает на весь остаток дороги.

Общий ужин командиров устраивает южная кухня, и устраивает без спроса.

На новом поле общей столовой заведует Явдоха Панасовна — женщина огромного роста, с голосом, который слышно от котла до стоянок, и с абсолютной убеждённой, что все военные — дети, а её дело эту публику кормить.

Она ставит в столовой — длинной землянке с двумя рядами дощатых столов — один стол отдельно и накрывает его чем-то неуставным: кроме каши, на нём стоят две миски квашеной капусты, тёртая тыква с чем-то и чугунок с тушёными бобами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.